

Феликс Чернов

Созвездие Орион



книга

первая

В долине Инферно

Что такое Человек? Это не просто физическое тело, это ещё и сознание, разум и интеллект - тончайшие инструменты познания.

Герой, путешествующий по этажам своей многослойной комы, познаёт величие внутреннего духовного устройства человека. Как пережитые оболочки он сбрасывает с себя слои невежества, покидая мрачные тёмные миры один за другим. Удастся ли ему эволюционировать до высшего существа и покинуть ад разделённости?

Роман «В долине Инферно» является литературным произведением. Все персонажи вымышлены, географические названия выдуманы, описанные события не происходили никогда. Любые совпадения случайны. Дмитрий Сергеевич Михайлов. 2014

I.

— Антарме таатмлава. Ютшатм овиму крамтлвотрг. Рецываакерту пропт. Я твой антикосмос. Твоя вторая половина, я твой антипод. Я — твой не рождённый сын, и я пришёл показать тебе самые отдалённые грани внутренней вселенной. Куда бы ты ни пошла, я буду следовать за тобой, что бы ты ни сделала, я буду знать об этом. Ты будешь встречать меня везде, и любить только меня. Потому что я — твой покой.

Я твой антикосмос. Твоя вторая половина, я твой антипод. Я — твой не рождённый сын, и я пришёл показать тебе самые отдалённые грани внутренней вселенной. Куда бы ты ни пошла, я буду следовать за тобой, что бы ты ни сделала, я буду знать об этом. Ты будешь встречать меня везде, и любить только меня. Потому что я — твой покой.

Шестимесячный ребёнок, неподвижно лежащий в кровати с выломанными прутьями и напевающий страшные песни, из которых я не понимаю ни слова, смотрит на меня, и я вижу его глаза. Глаза, в которых разверзлась пропасть.

Светло-коричневые полые трубки, напоминающие спицы в раздавленном колесе, торчат по сторонам. Он их выкорчевал, когда я закрывала кровать сеточкой от moskitov. Ограниченное пространство не для него.

— Зу эрвинетрум, подними меня, — говорит он.

Я беру его на руки и прижимаю к себе. Он необычайно тяжёл. Вдруг я замечаю, что одета в больничный халат, и из меня торчат трубки.

— Подойди к окну.

Появляется странная декорация: окно на двух сваях, заканчивающихся колёсиками. Окно есть, стены нет.

— Смотри.

За стеклом я вижу какое-то шевеление и туманные фигуры. Потом появляюсь я, такой, какой была в детстве. Вокруг громоздятся исполинские каменные статуи, изображающие меня. Потом приходят существа с головами животных и рыб, берут меня на руки и уносят. Картина меняется. Теперь это белоснежные стены палаты в больнице. На кровати лежит человек. Длинные волосы разметались по подушке. Капельница отмеряет время. Одна капля в жизнь.

2.

— Орлионтана. Перелла окрон растикураре. Растикурарси аррам одол ситт.

Я одеваю его в маленькую детскую курточку, и мы выходим на улицу. Останавливается автобус, мы садимся в него.

— Параилтуре. Элон смоританто глун, — говорит он, вращая безволосой головой в полумраке салона.

— Надень, пожалуйста, очки, ты пугаешь людей.

Он послушно кладёт на своё личико тёмные солнцезащитные очки, чтобы никто не увидел его глаз. Люди в автобусе думают, что мы клоуны или передвижной цирк. Классный

флэш моб. На мне спрятан микрофон, мой сын — лилипут в гриме, а в салон сейчас зайдут пятьдесят карликов и будут в унисон декламировать «Ади Грантх».

За окнами проплывает город. Позвоночный город, выплавленный в сочувствующих камнях пристальной кислотой. Люди в окнах с ложечек поят свои цветы и напевают Шнитке.

3.

Наступает ночь, и темнота, словно женщина в чёрном, начинает дикую пляску и машет своими покровами перед моим лицом. Я думаю, что, наверное, сошла с ума, или мне всё это снится в наркотическом кошмаре, этот странный ребёнок, этот мир, переливающийся в туманной дымке. В красном свете луны передо мной проплывают образы каких-то людей, кошек и собак. Я вспоминаю монументы мании величия, вытесанные из мёрзлых камней и закрывающие от меня невероятно синее небо моего детства.

Он никогда не спит, не плачет и ничего не просит. Лежит на кровати и смотрит в потолок глазами, в которых нет ни радужной оболочки, ни зрачка. Одно лишь сострадание.

4.

На берегу реки почти безлюдно. За грязной лентой воды безмолвствует застуженный рафинад домов, синеют провалы стеклянных глаз. Осень запустила процесс полураспада углекислых миров...

Мы сидим с моим сыном под грязным зелёным зонтиком и молчим. К нам подходит нищий и просит подаяния. Я замечаю, что он слеп. Его волосы рассыпаны по плечам, и он похож на Гомера, выжившего в чёрных пещерах, выжившего, но навсегда потерявшего рассудок.

— Деточка, — говорит он, — ты взяла на себя слишком тяжёлую ношу. Перестань, брось, пока не поздно.

Он поворачивается и уходит, и его волосы развеваются. Мне не по себе от этой встречи.

На эскалаторе я пошатнулась. Из покрывала выскользнул мой ребёнок и грузно упал на ноги впереди стоящей девушки. Её колени подогнулись от невероятного груза, и она схватилась за поручень. Я успела поймать сына, он едва не улетел вниз по ступеням.

Я, запутываясь в свистящей синтетической ткани, заворачивала в неё ребёнка, когда приехали наверх.

— Да ты..., - оборачивается ко мне женщина, — Ты что!

Её лицо пылает яростной весёлостью. Она притаптывает тонкими сапожками на месте от негодования. Где-то я её видела. Спортсменка какая-то.

— Ты что, овуляшка разбомбленная, хватай своего пещеропроходца и двигай, коза лохматая! — кричит она мне сверху вниз, пока я пытаюсь хоть как-то свернуть распадающуюся материю.

Норковая шубка, разбрызгивая искры, скрывается в толпе, я вижу девушку глазами моего сына. Под этим взглядом кокетливая фигура ломается, её сносит вбок каким-то давлением, я даже как будто слышу скрежет металла и какое-то бульканье.

— А потом она умерла от кессонной болезни в сто сорок третьем под Новоорловском, — вещает голос, приглушённый одеялом.

— Что ты с ней сделал?

— Она столкнулись с ужасом в чистом виде, и это была твоя бездна. Ты ещё так далека от себя.

— Ты омерзительное создание! И смешон, к тому же, — говорю ему я.

— Ты не понимаешь — всё вокруг сделано из тебя.

5.

Сегодня я решила от него избавиться. Я увезла его далеко за город, и там оставила на скамейке в заброшенном парке. Когда возвращалась домой, всё ближе чувствовала радиацию всепрощающих глаз. Он лежал на диване, в своей обычной позе и смотрел в потолок.

Все зеркала в квартире были сломаны, и осколки как лезвия ножей выглядывали из рам.

Ночью я приоткрыла дверь и положила его на порог в надежде, что его продует, он заболит и умрёт. Он заболел, и температура его тела была восемьдесят градусов. Несмотря на позднюю осень, на улице вновь наступила жара, такая, что не возможно было вздохнуть.

— Я принёс тебе любовь, которой ты не знала никогда, я пришёл, чтобы разрушить твою иллюзию, что ты выстроила в себе в годы беспросветного одиночества и невежества, я уничтожу твою паранойю и открою дорогу к себе.

— Мне не нужна твоя любовь, я — орлица, питающаяся червивой падалью ненависти, я не приемлю ничего из других миров. Я ненавижу. И это моя любовь.

Эти слова выходят из моего рта, но я чувствую, что говорю их не я. Как будто я втянута в какую-то странную игру между добром и злом, чью-то игру.

Я начинаю вытаскивать трубки из своего тела, холодея от озарения, что все эти существа работают на моей энергии, и что я могу им перекрыть поток.

Мой сын беззвучно кричит, изо рта у него вылетают красные цветы, превращающиеся в облака, глаза сгнивают такой великой любовью, что больно смотреть. Трубы разрывают пергамент глухоты, всё заваливается набок и истекает дьявольской трелью Тартини.

6.

Мы стоим на плоской крыше, а внизу простирается чудовище-город. Медные инфразвуки, как его ореол, оведают взлохмаченное человекопитающееся тело. Звук поднимается от квадратных остановок, плывёт по кривым улицам, втягивается в пластмассовые окна и растворяется в серой чешуе стен. Он осязаем, он материален. Я вижу его, он мне знаком.

Когда-то мне займы приснилась чужая жизнь. Гандхарвы ныли в глиняные стержни, сокрушая витрины вечной летаргии. В чёрных дырах нас находила Милость и сжигала как падаль. Безжалостная Милость, сжигающая Милую Падаль. Тогда я уже ни во что не верила. Вспарывая каждую ночь бесконечную сеть снов, выглядывающих в меняющиеся окна, я находила лишь всеохватывающее инкогнито одиночества. Я жила под чужими именами. Я теряла себя в непонятной гонке, пряча своё больное сердце от резиновых рук. Меня травили зелёным глазастым хлебом, на котором зарождались новые пенициллиновые цивилизации, мне рвали ржавыми будильниками утро, меня учили проливать слёзы над тем, что уже изначально было обречено. Заставляли стучать головой в стену, требуя верить, что за мной придут.

7.

Птицеголовый и Шакал такие приколисты. Когда они появились здесь, весь мир прогнулся сам в себя и перестал себе верить.

В синюшнем трамвае, где из-за грохота не слышно ругательств и на колдобинах подпрыгивает гражданское мясо тел, Шакал подсел к какому-то влюблённому, улыбающемуся до ушей хипстеру, и, как это называется в определённых кругах, привил ему шизу, что объект его воздыханий на самом деле не отвечает ему взаимностью. Почему тогда

она отказывается жить с ним в одной квартире, отдельно от родителей, почему она сказала любить её такой, какая она есть, или отваливать на все четыре стороны? Она пользуется им когда ей хочется нежности, как большим жёлтым львом, с которым спит, эдакий тупой няшка, но это не любовь, о нет, конечно же не любовь. Хипарёк похлопал ушами, пробитыми громадными тоннелями, набрал номер телефона и тут же послал недоумевающую пассиву на три русских буквы. За четыре остановки они посеяли такое непонимание среди граждан, забивших железный гроб трамвая, что можно было только удивляться. Кондуктору они навязали любовь к зайцам, контролёрам — презрение к деньгам, пенсионерам — тёплые чувства к правительству.

Вы скажете — гипнотизёры? Нет, просто Птицеголовый и Шакал — генераторы дуальности. На самом деле их зовут Анубис и Тот. Если вы где-то увидите их нахальные рожи, бегите оттуда, иначе вы перестанете понимать сами себя, а скорее начнёте понимать других. Птицеголовый и Шакал — те ещё чуваки.

8.

Белый цвет. Кругом один белый цвет, как абсолютное ничто. Даже вакуум — это относительное ничто, потому что он учит дышать, так же как смерть учит жизни. Белый цвет не учит ни чему. Он отторгает от себя всё, одновременно поглощая. Он недостижим. Он может быть красным, оранжевым, синим, зелёным, но он предпочёл быть белым.

Белые стены, белая кровать, белые халаты. По прозрачным трубам в безразличное тело капля за каплей втекает жизнь. Нервная нить осциллографа медленно вздрагивает, рисуя звуковые треки чужих сердец. Тишина и вечность по очереди сторожат сумеречный покой, сглаживая морщины на родном лице.

9.

Я стою на коричневой крыше и держу своего ребёнка на руках. Мой сын — монстр. В свои неполные семь месяцев он взглядом стирает память и цитирует священные писания на неземных языках. Я ненавижу его. Он это знает и питается моим страхом.

Внезапно мне приходит мысль бросить его вниз в разверстную серо-зелёную пасть квартала, но понимаю, что через три дня сама отправлюсь туда же, связанная невидимой пуповиной.

Светает. Магнитное поле уменьшается и оседает солёным мёрзлым туманом на тротуары. Корабли — дома открывают шлюзы и выпускают людей в долину страдания. Пора спускаться и пить чай.

10.

Шакал зашёл в аптеку и попросил канатоходца купить у него хрустальную свинью, пустую внутри. Полицейский достал пиво и сыграл ля-минор.

11.

На жирной кухне я зажигаю газ. Маленькие огоньки, как красные озорные глазки смотрят на меня и моргают. Как будто просят дать им волю, дать вырасти в жёлтого дракона, который поглотит всё.

Я ставлю на огонь мыльный кокон чайника, в котором куски известняка шепчутся между собой в халтурной ржавой воде облезшего быта. Их шёпот похож на шум из гнутой черноморской раковины, которую привезли умирать в казахскую степь.

Я завожу будильник. Сжимаю и без того скрученное в стальной пружине молчаливое время, облачённое в алюминиевый цилиндр.

Утро.

Сон.

Сон — это смерть, но смерть короче...

12.

Иногда он мне снится. Он стоит возле моей кровати и поёт какую-то песню. Это совсем не он, а кто-то очень похожий на меня. Мотив, загнанный в душный коридор аккомпанемента, рвётся наружу, его родина — Абсолютная Тишина, но ему нет туда выхода из лабиринта односложных гармоний. Я отражаюсь в зеркалах, и каждое моё отражение начинает самостоятельную жизнь. Иногда я боюсь смотреться в зеркало, я боюсь того, что отражение, поверив, что это оно настоящее, разобьёт меня оттуда, и получит власть над реальностью.

Мой сын в длинной комнате. Она вся заставлена зеркалами. Плоскими, лживыми стёклами. Он ползает между ними, и, останавливаясь, с упоением рассматривает в них самую совершенную картину — себя самого.

Это не мой сын, у меня нет сына, я вчера видела сон, что он превратился в глаз, через который за мной наблюдает кто-то жуткий. Он копирует меня, чтобы я настоящая потеряла себя среди отражений.

Сын в комнате начинает бить дрожащие листы зеркал. Стекло — это жидкость, остановившаяся во времени. Почти непрерывный шелест осколков, падающих на бетонный пол, совпадает с концом его песни. Шипение достигает такой фантастической силы, что я различаю в нём отдельные слоги и даже слова. Как многотысячная толпа скандирует какую-то страшную фразу. Мне снятся носатые старухи, выпекающие на моей кухне пироги, а я знаю отчего-то, что это поминальные пироги, а я сама лежу там за стеной, и мои руки сложены на груди. Я ненавижу этих бабок, они такие уродливые, у них на лице бородавки, у них грязные руки, я хочу заорать на них, хочу выгнать, но у меня нет голоса, а старухи достают кастрюли и начинают бить в них, стоп, это тоже самое, что ломал в зеркалах мой сын, а впрочем, нет, это будильник.

Будильник на дне кастрюли гремит как там-тамы в конце миров. На сто восемь метров моего скрюченного тела сгорает фальшивая нирвана и плотоядным туманом вползает в мои глаза, заставляя их открыться.

Железные двери грохочут и рвут на неодинаковые куски грязное, замызганное серым солнцем подворье. Квадратный воздух скрипит сырым стеклом на зубах.

Соседи за стеной — живые трупы, — вмазывая заплесневелые голоса в ассиметричные пучки аккордов, воют свирепые песни, чтоб доказать себе, что они ещё живы.

В затылке появляется лёгкое покалывание, как будто я чувствую на себе чей-то взгляд. Я подхожу к окну и вижу их. Они в нашем дворе.

Птицеголовый и Шакал сидят на детской скамейке и смотрят на моё окно.

— Пракедориану кантросорр! Нужно уходить, — произносит мой сын, — они пришли за нами.

— Кто это? — спрашиваю я.

— Реставраторы, абсолютное зло в чистом виде. Им нужна ты. Под их влиянием и контролем ты никогда не достигнешь своей цели.

«А у меня есть цель»? — думаю я, заворачивая его в одеяло.

— Собирайся! Нужно бежать, — кричит он.

Мы поднимаемся на крышу, и я бегу по скользкому железу, стараясь не смотреть вниз.

Два каменных изваяния внизу во дворе вращают головами, видя наши силуэты.

13.

Как далёкий отзвук глубинной памяти появятся красноватые волокна боли, разбавляя пронзительную белизну небытия.

В дождливый полдень на сырые разбухшие двери слепо падут размытые тени.

В неизбывной пустоте раньше вопроса появится ответ:

Я ЕСТЬ

Слово, набирая непреодолимую инерцию, подобно лавине начнёт движение вниз. Оболочка познания стальным корсетом сожмёт бесформенное.

Но белая жидкость из иглы нейтрализует все оттенки, и всё превратит в один неизменный звук.

14.

Мы с моим сыном едем в троллейбусе, пересекая городские артерии, по которым как энергия праны течёт человеческая масса, обречённая вращаться по этим кругам и наполнять иллюзией жизни распростёртое каменистое тело.

Птицеголовый и Шакал где-то рядом, мой сын это чувствует, и страх жжёной резиной чернит его взгляд. Не понятно, почему он — то их так боится, ведь эта угроза для меня?

— Откуда они взялись? — спрашиваю я у него, наклонившись к маленькой голове с торчащими из махрового покрывала ушами.

— Их породила низшая система, механизм, они здесь, чтобы разделять.

«Может быть, они отделят меня от тебя», — думаю я.

15.

Сегодня они нас догнали. Выйдя из вагона электрички, я упёрлась прямо в них.

— Оппа! — заорал Шакал, — вот так так! Какая встреча!

Вблизи они оказались совсем не страшные, двое разбитных малых под мухой. Один был высокий и худой, а другой маленький и плотный.

— Так, видишь на сей раз какие образы, — сказал Птицеголовый, озираясь вокруг, — город, — понятно, одиночество, — вполне логично, к тому же Осёл сюда ещё не добрался, но я не пойму одного — где же близнец, или в этот раз...

— Ктю эту у нясь тють, — сказал Птицеголовый, почёсывая недельную щетину и щуря свои выкаченные глаза на моего сына.

— Инпу, вероятно, это и есть ослиная экспансия в этом мире, поосторожнее.

— У — тю — тю, — просюсюкал Шакал, и, дыша перегаром мне в лицо, протянул руки к ребёнку.

— Не трогайте меня! — завопил мой сынок.

— Не трясись как собака в камышах, мы тут не напрасно, — заверил Шакал и вдруг вырвал младенца из моих рук.

— Майкло Джордано быстрым движением выхватывает мяч у Дениса Родмана и проходит в трёхочковую зону! Посмотрите — это не человек, а неудержимая машина! Детройт Пистонс впервые за историю терпит поражение!... Внимание, бросок!

С этими словами Шакал швыряет ребёнка в стоящий рядом мусорный бак. Маленькое тельце, провернувшись в воздухе и описав кривую, с жутким грохотом падает в ржавый железный куб.

— Гол!!! Какой бросок, какая красота! — орёт Шакал, — и оба ржут как угорелые.

— Что вы делаете, придурки, прекратите сейчас же, уроды несносные! — кричу я, —

верните мне сына!

— Какой сын, братишка, тебе лечиться надо, это же третий сезон!

Невероятная жалость охватывает меня, сжимая моё сердце вялыми руками. Я подхожу к баку и вытаскиваю из него ребёнка. Он весь в каком-то мусоре, и его глаза страшны, они мажут воздух в диаметре трёхсот метров.

— Я проиграл, я проиграл, — шепчет он, и свистящий воздух вырывается из его дряхлеющего рта, — я проиграл

16.

Вот, наконец-то я стою перед девятью дверями. Из-за каждой двери льётся слабый свет. Десятая дверь стоит особняком. Она одна открывается вовнутрь.

Я оборачиваюсь назад и вижу под собой бесчисленное количество ступеней, убегающих вниз и теряющихся во мраке моей памяти. Я ужасаюсь от мысли, как мне удалось сюда войти.

Я подхожу к десятой двери и дёргаю её за ручку. Заперто. Ничего не происходит.

Внизу на ступенях начинается какое-то шевеление, там — некие существа, но они далеко, и похожи на чёрное облако. У меня появляется мысль спуститься и посмотреть, что там, но я понимаю, что нельзя. Я толкаю первую попавшуюся дверь и вхожу в проём

17.

Где-то глубоко внизу есть огромные глаза. Каменные люди приезжают на них посмотреть. Зрачки выплавлены из горного антрацита, а радужная оболочка — чистейшая бирюза. Один раз в четыре кальпы поднимаются бетонные веки, залатанные самолётным металлом. Белые халаты сбегаются и впитывают лучи. Глаза закрываются и открываются, но доктор Ждонсон говорит, что это ничего, это просто рефлекс.

18.

— Не плачь братишка, говорит мне Шакал, размазывая слёзы по моему лицу. Это не стоит того, вот вернёмся домой, и всё будет нормально.

— Понимаешь, — добавляет Птицеголовый, — истину очень просто скрыть, нужно просто ложь разделить на две части, и одну часть выдать за правду. Собакам кидают кости, и они их грызут.

— Вытри слёзы, — ласково шепчет Шакал, — отвечаю, всё образуется.

— Да, образуется, — вторит ему Птицеголовый, и закуривает сигару.

— Раз уж Богу всё — то снится этот мир, значит, мы Ему до сих пор зачем-то нужны.

— У тебя где-то есть одна вещица, она поможет нам всем.

Я не помню, как мы оказались дома. Токсины сна заполнили мою голову тяжёлыми видениями, и память переполнилась до краёв. Продавленный диван впивается стальными пружинами в моё тело, но мне уже всё равно.

Шакал гладит меня по голове, отчего проходит боль и вместе с нею всякая печаль. На кухне Птицеголовый варит в кастрюле коричневые, треснувшие по центру зёрна, и что-то ищет там.

— Откуда вы взялись, кто вы? — спрашиваю я через туман снов.

— Терраполис — наш дом, — говорит Шакал, и голос его крепнет, обретая медный тембр, словно сто тромбонов играют в унисон.

— Ты наш брат, и мы пришли за тобой. (Птицеголовый крутит пальцем у виска).

— В сердце Вселенной есть вертикальный мир, и твои годы прошли на его дне, омытом великими реками. Ты здесь, потому что нашёл в этом мире руку моего несравненного

папаши, который прижил меня от длинноглазой блудливой тётки, которая бросила меня, испугавшись мести своего муженька-отморозка, который... короче, в доме, который построил жук. Я уже почти собрал его, но не хватает одной важной детали. Октоада ждёт нас, пришло время отправляться в путь.

— Ну это уж слишком, — хлопая дверью на кухню, говорит Птицеголовый, — совести у тебя нет, пошли отсюда, здесь и так все уши в макаронах.

Запах тряпок, кухни, эхо каких-то разговоров, пыльная старая мебель; я ещё пока не сплю, но в голове уже раздаются звуки, произрастающие не из этой реальности.

Ночью я засну во сне, и мне приснится сон, что я сплю и вижу сны.

Я вижу Птицеголового и Шакала.

Я вижу, как меняется их облик. Они раздуваются и становятся шарами, внутри них появляется множество их точных копий. Внутри этих шаров они повернуты головами к центру. Звучит нездешняя музыка, далёкая и вящая, в которой вереница людей стоит у закрытых врат и смотрит в Небо, Которое смотрит в них.

Глаза планеты Марс создают астральный свет, его впитывают каменные псы на Земле, сидящие на прямых лапах. Жёлтые треугольники фосфоресцируют, заполняя плотным светом мой *horror vacuи*. На внешней оболочке капсулы оседает серый хлопчатый мрак.

19

— Эй, ну всё братишка, пора уже, — слышу я чей — то голос и с трудом открываю глаза. Надо мной как в комедийном сериале участливо склонились две головы. Это Птицеголовый и Шакал. Они озабочено смотрят на меня. Шакал повязал на свою круглую голову платочек поверх кепки и шепелявым голосом говорит:

— Тсяй гхотоф.

Я улыбаюсь.

— Улыбается, — басит Птицеголовый, — значит всё в порядке.

Я поднимаюсь на постели и оглядываю квартиру, ещё несколько часов назад бывшую такой мрачной и тёмной, от печали моей не осталось и следа.

В окно бьёт яркий свет утреннего солнца. Окна просто белоснежны, я не помню, чтобы они хоть когда-то были такими.

— Братишка, у нас мало времени, вставай.

Это они говорят мне. Мне не понятно, почему они называют меня братишкой, видимо просто дурачатся. Я встаю с кровати и озираюсь. В квартире — невероятная свежесть и чистота. Как будто пока я спала кто-то вызвал мойщиков из клининговой компании, и брутальные щетинистые парни в комбинезонах на голое тело отмыли квартиру моечными машинами со страшным давлением внутри.

— Гнилые звуки мне трубы Иерихонской, Не обещаемы навек в углу медвежьем, — печально произносит Птицеголовый. Он стоит у окна и смотрит во двор.

— И только ветры кружат над неизвестными могилами героев. Шопен.

С улицы доносятся разрозненные звуки медных инструментов, музыка как будто распадается. На куски. На составляющие её тело гаммы и арпеджио. Шопен, сам того не ведая, стал в нашем веке пилигримом иных миров. Сейчас его мрачное угловатое лицо, как будто само размывается на стене, разрисованной акварелью под проливным дождём. Я подхожу к окну и вижу похоронную процессию. Красный гроб, обтянутый траурными лентами, фальшиво — печальные лица людей, стоящих у подъезда. Эта картина настолько контрастирует с ясным днём, с этим светлым, залитым солнцем двором, как будто эта кучка

людей непостижимым образом ухитрилась украсть кусок темноты минувшей ночью и утаить его где-то до обеда. Это — куб синего льда, сохранённый в морозильной камере и вынесенный летом на зелёный луг, где он начал таять, и его холод проник под загорелую кожу спортсменов в шортах и майках и сделал на ней «мурашки». Профессиональные бабки — причитальщицы, орут своими страшными голосами, смешивая их с зелёными, закупорошенными временем басами похоронного оркестра.

— Да ерунда это, — кричит из кухни Шакал, — надо идти!

Из-за косяка показывается его смешливое лицо с выпученными глазами. Потом он появляется весь, и, засунув палец в ухо, трясёт рукой и прыгает на одной ноге.

— Коллега, вы здесь тоже чувствуете глухоту? — откуда-то сверху говорит Птицеголовый.

— Есть такое, — произносит Шакал и снова скрывается на кухне.

— Собирайся, — говорит мне Птицеголовый.

— Куда? — спрашиваю я.

Я не знаю, как я буду теперь жить в этом мире, который сейчас больше, чем когда бы то ни было мне кажется сном.

— Тебе видней, тебе же надо нам отдать Вещь, — доносится голос Шакала из кухни.

— Но у меня нет никакой вещи, — говорю ему я.

— Ты понимаешь, отдай нам, это же не твоё, — доверительно бубнит Птицеголовый, — мы уже измотаны инкарнациями, он, например, невероятно устал быть вором в законе или ещё каким бандитом, правда, Инпу? А, Инпу?

— Гиблое дело. Сплошняком трюмиловка, — кивает головой Шакал, появляющийся в проёме.

— А я, то — учёный, то ещё кто, и однажды мне даже удалось побыть глухонемослепым, доложу я тебе, невесело это.

В квартире повисает тишина.

— Нам в ресторан «Карма», — говорит вдруг Птицеголовый, глядя на своего друга, и, очертив рукой в воздухе кривую, показывает куда — то за окно.

Шакал смотрит ему в рот как нигерийский дикарь на лекции о католицизме.

— Я изучил все доступные нам на это время материалы, и везде фигурирует это сакральное место, — нараспев произносит Птицеголовый свои странные фразы, — название может быть другим, может быть переведено на разные языки: судьба, фатум, рок; но всё это — суть одно и то же.

— Ну тогда что? Валим! — говорит Шакал и натягивает на свою круглую голову чёрную кепку. Голова у него круглая, и сам он тоже весь какой-то круглый.

Скопище звуков за окном собирается в пучок, отдалённо напоминающий вяленый банан и снова расползается липким клейстером по ушам.

— А где мой сын? — вспоминаю я вчерашнее как страшный сон.

Шакал с переглядывается с Птицеголовым и поворачивается ко мне. Я вижу, что он в замешательстве, его круглые, чуть на выкате глаза смотрят неподвижно перед собой.

— Понимаешь, это не совсем сын... Вернее, совсем не сын... Э, сын совсем не...

Я вхожу в какое-то странное состояние, ощущение такое, что в мире сейчас сотни меня, и рядом с каждой стоит вот такой же Шакал и пуча глаза, запинаясь, не в состоянии построить фразу.

— Абсолютно понятно, почему ребёнок, — нарушает паузу Птицеголовый, — налицо

социально-приемлемое компенсаторное поведение, вспомни, этажом выше что было, помнишь?

— В натуре Гагарин, гы гы, ранний ужасно.

— Заметь, Сет как этим умело воспользовался, — цедит Птицеголовый теперь с правого боку. Инп, во избежание аффекта, надо бы вторично инициировать утилизированный объект, но можно не стараться, я чувствую, что это — пустая проекция, поскольку меня просто эстетически трясёт от недостроенных конструкций. Иницируйте, коллега.

— Без бэ! Шакал уходит в соседнюю комнату. Возвращается он оттуда с каким-то свёртком в руках и протягивает его мне.

— Вот, — улыбается он.

Я беру на руки этот свёрток, отворачиваю угол и вижу там кусок чёрного полена.

— Что это? — спрашиваю я у Птицеголового. Он молчит.

— Да, Кецалькоатл уже не тот, — изрекает Шакал, приподняв кепку, и оба смеются.

20

Мы выходим из автобуса на Площади Двух Гепардов, и нам открывается потрясающее зрелище. Грандиозное здание — центр ансамбля с вплетёнными в монолит грозными фигурами. Перед арочным входом стоят две химеры. Железобетонные колоссы. У одного голова собаки, другой с длинным клювом.

Автобус уносится в небытие и оставляет нас наедине с этим величием.

— Апега андаартле, льуву вжаа литуриан, — говорит Птицеголовый Шакалу.

— Да, — соглашается тот, — возле октаэдра Рамзеса стоят...

Они подталкивают меня к входу, и я иду дальше, неся на руках почерневшую деревяшку, обёрнутую простынёй. Исполины заваливаются вперёд, это мы проходим под ними.

— Когда войдём, не смотришь в зеркала, — говорит мне Шакал, — там ты можешь увидеть нечто, что тебе не понравится.

— Да, ни в коем случае не смотришь в зеркала, — повторяет Птицеголовый, — и выкини это, — он выхватывает свёрток из моих рук и бросает его в урну у входа.

— Марта сказала бы «реприза», — пожимает он длинными худыми плечами.

В бетонном чреве царит полумрак, на минуту мы погружаемся в глубокий тоннель, где даже звуки кажутся исчезнувшими навек.

— Банк Нал, — не удерживается от комментария Птицеголовый.

Коридоры тянутся зеркалами, и в них мелькаем мы трое, отражаясь в обратную сторону.

Я не могу не смотреть в зеркало, и с большим трудом сдерживаюсь. Краем глаза я всё-таки скашиваюсь, и вижу там себя, но как будто со спины.

— Не надо, — говорит Шакал.

Я отворачиваюсь, и мы идём дальше. Коридор поднимается и вдруг ныряет вниз.

— Не бойся, — говорит мне Птицеголовый, чувствуя моё замешательство, — всё нормально, там празднуют.

Мы спускаемся по широченным ступеням и подходим к большим дверям, окованным железом. Двери распахиваются, и в нос мне бьёт спёртый воздух. Моему взору предстаёт мрачноватая картина. Как в каком-то старинном фильме про викингов, посреди большой залы стоит немыслимых размеров стол, за которым сидят люди. Вернее это даже не люди, а какие-то существа, кентавры или мутанты. Они разговаривают, едят, пьют и кричат. Звуки отражаются от потолка, падают вниз и рассыпаются по полу.

Я не могу себя убедить, что это — реальность, мне кажется, они меня опоили чем-то,

какими-то наркотическими снадобьями, я не могу вспомнить, пила ли что-нибудь, вроде только чай. Может в чай насыпали? Ощупываю своё тело — вроде реальное. Ущипнула за предплечье — больно.

— Садись, братишка, говорит мне Шакал, отодвигая стул, — ты наш брат и истинный воин, тебе самое место тут, на празднестве Валгаллы.

Я сажусь за стол и стараюсь не смотреть перед собой. Жутко. Рога на черепах жующих «воинов», размахом, наверное, под два метра.

На столе громоздится свинья размером с корову, сидящие за столом отрывают куски от её тела и вгрызаются в сочащуюся красноватую плоть. Свинья подмигивает мне и косится на чудовищ.

Они чавкают и отрываются, бросая на пол кости. Они хлопают о поверхность стола железными кубками.

«Друзья» мои как будто радуются, всё время улыбаются и разговаривают, во мне же нарастает глухое раздражение. Я всё понимаю, они шутники и артисты, но это уже перебор.

— Ну всё, — отбросил какой-то рогатый обглоданный масёл с половину меня, — несите десерт.

На центр зала выкатывается круглый торт, из которого вдруг появляется шест и упирается в потолок. По этому шесту, вытягиваясь из середины, появляются руки и медленно обволакиваются сизой плёнкой крема. Поэтому они похожи на мёртвые.

Постепенно показывается верхняя половина девушки, маленькой с чёрными волосами. Её груди тоже облеплены кремом, но торчат соски. Девушка высовывается всё выше и выше, а уроды, среди которых Шакал с Птицеголовым кажутся просто красавцами, не отрываясь, смотрят. Из зубастых пастей мутантов на пол текут верёвки слюны.

— Это тоже везде есть у него, — кивает на меня Птицеголовый, — видимо, отсылка на стриптиз.

Меня начинает мутить.

— Мне надо в туалет, — говорю я Шакалу. Он сидит рядом.

— Через три коридора, направо, — машет он рукой куда-то по направлению к выходу, и добавляет:

— Зеркало.

Все моё тело начинает дышать. Оно, как будто, живёт без меня, словно десятки рук и ног шевелятся в гротескном танце. Я ускоряю шаг, и выхожу в коридор, обнесённый зеркалами. Из них на меня смотрят тысячи я. Я — главная подхожу к зеркалу и вижу там себя. Но это я превращается в какого-то мужчину в зелёном пиджаке. Он прищуривается и беззвучно шевелит ртом, обрамлённым тонкими усиками. Он похож на ненастоящего японца. Рот его всё шире и шире, он уже кричит и машет руками.

Я смотрю ему в глаза, радужная оболочка его глаз расширяется и наплывает на белок.

— Это сон, ты спишь, — слышу я в своих ушах, как будто псевдояпонец этот каким-то образом проник в мою голову.

Я чувствую, как где-то снаружи непреодолимая сила сгущается вокруг этого мрачного каземата, в котором живут такие уроды, что, кажется, сам мир упрятал их сюда, потому что боится их. Я — самая страшная. Шакал прав, мне тут самое место.

Сзади меня раздаётся топот ног, я оборачиваюсь и вижу, как ко мне бегут существа, грохоча копытами, трясая рогами и гривами, они роняют чешую на кирпичный пол.

Вдруг меня кто-то толкает в спину, да так сильно, что чуть ли не падаю на пол. Я

оборачиваюсь и вижу там этого японца, он открывает рот, и тут появляется оглушительный звук:

— Братан! — орёт псевдояпонец, — ты что тут застрял, быстрее, сюда!

Я отворачиваюсь от него, поднимаюсь на ноги и вижу, как из середины кладки пола выпадает кирпич. Потом другой. Вскоре на месте коридора появляется адская дыра, которая всё расширяется. Толпа мутантов в ужасе отшатывается назад, и их поглощает яма, растущая на глазах. В ушах звучит предвечная мелодия, размытая дождём на улице Покоя.

Когда ты покинул этот мир, ты бросил меня и ушёл жить под землю, головой к центру, ты умер в жизнь, оставив меня одного. Но, может быть, пройдёт время, и ты вернёшься обратно.

II

Тёмным жарким днём, пустынным, как будни на кладбище, где лишь собаки, свободные птицы и бездомные люди презрительно собирают с могил остатки пищи, под шестым потолком пятидесятиэтажного небоскрёба «апскай» в районе Алистро, после продолжительной комы пришла в себя женщина. Она вошла в своё тело, как входят в старый, давно забытый дом, хранящий только детские впечатления — оглядываясь и удивлённо озираясь.

Город жил.

Строения, взлетающие вверх в неудержимом порыве стремления удалиться от земли, из которой приходит всё, чтобы потом уйти туда растворяться в беспощадной дуге времени, сонно синели через прореженный воздух.

Город — тело, мегаполис — организм, прозванный в детских снах Nenavi — City, живущий лишь в чужих лицах, гордо молчал от иссушающей жары, но, нарушая свой покой раз в день, давал о себе знать, ударом Набата Просвещения лениво разгоняя по артериям улиц эритроциты человеческих тел. Какие-то были склеены в пучки неизбывной притягательностью теснейшего общения, как в крови у алкоголика потом они плотно закупорят проход к нейронам железобетонного самадхи, навсегда лишив себя растворимого сухого счастья полного исчезновения и одиночества. Утром каменный организм через очистительную систему вымоет их останки, и они исчезнут в бесконечной канализации времён. Это не жалко, ведь каждой ночью под стоны и крики потных тел в бетонных сотах создаются другие.

Девушка с именем Фелексия, как будто впервые услышала псалмы Дхарам — Кшетра, Долины Смерти, исполняющиеся на цепном дыхании и потому не прекращающиеся никогда. При рождении этим именем её подписали предшественники, желающие для своей дочери беспробудного и реактивного счастья, но природа несколько не экстравагантна и даёт поровну и того и другого, не забывая нас одаривать во всей полноте своих возможностей.

В сверхкосмическом сне, который косноязыкие человеческие капсулы называют комой, Фелексия пробыла больше года, врачи признавали вялотекущую эпилепсию — бесцветную родственницу плясок Святого Вита. 365 дней девушка пролежала вмявшись в спектрально — белые простыни, слепо отражаясь в своей сестре. Они были близнецы. Сестра не отходила от кровати и хранила сны Лекси.

Лекси, прозванная Lex — закон, была теперь законом безмолвия.

Дважды открывались её глаза, в которых люди видели отблески далёких миров, но в этих мирах они не встречали самой Лекси.

Тело привезли домой, где подключили к источнику бесперебойного питания, и в коробке квартиры загорелся бессмысленный и опустошённый свет. Часами сёстры лежали на кровати и всматривались друг в друга, одна — бесстрастно, другая — испаряя в чуткую, Всеслышащую Атмосферу молекулы мольбы и просьб.

В день возвращения Фелексии из бесконечных коридоров, беспорядочно разбросанных на той стороне, не было дождя. Бессменные потоки воды, аккомпанирующие монотонному нытью водосточных труб, были бы более уместны, чем иссушающая жара полудня, когда

исчезает все, в том числе узловатые тени, ежедневно увлекаемые своими хозяевами в коридоры жизни.

В 7:00 бесстрашный халдей смерти — медицинский работник, проверил генератор энергии и покинул душную квартиру, растворившись белой спиной в раскалённом воздухе. Сестра Лекси отлучилась из комнаты на миг, а когда вернулась, то воспалёнными от бессонницы глазами нашла взгляд сестры, из которого исчезла пустота. Теперь она встретилась с тем, что искала ночами, без сна лёжа на одной кровати с Лекси.

Чёрный как смола кофе высвободился из тесного фарфорового пространства и художественной кляксой впитался в пёстрый ковёр. Однако осмысленность взгляда Лекси оказалась иллюзией. Она никого не узнавала, её память осталась там, откуда она пришла.

Грея мотором и без того горячий воздух, приехал амбулаторный автомобиль, из которого вышел человек с тонкими усами на лице, выточенном из матового стекла. Человек, разрушая лакированными ботинками мраморную тишину подъезда, поднялся в квартиру сестёр. Доктор Ждонсон, выплавленный в горниле жары настолько, что казался твёрдым как скала, сел на кровать Лекси, заглянул в её лицо, будто в колодец, и отключил аппарат искусственной жизни. Потом взял чемодан с кровати и ушёл, не сказав ни слова.

В открытую дверь одинокими призраками вошли санитары, положили Лекси на носилки и на миг мелькнули в дверном проёме. Им было почти всё равно, кого нести, но всё-таки надо было думать, куда вносить ногами.

Ретроградная амнезия стирает начисто все виды памяти, и в разуме не остаётся никаких впечатлений. Чем ближе к моменту сброса информации, тем туманнее незнание. Но до абсолютного невежества дойти не дано — кладезь Основного бесформенна и лежит за пределами любого физического воздействия. Когда Лекси начали обучать естественным вещам, которыми должна обладать сформировавшаяся двадцатилетняя девушка, каждый орган её тела радостно откликнулся на вмешательство извне.

Её сестра на практике познала счастье ухода за ребёнком, не будучи матерью.

Через месяц, когда в каменной больнице, ни на миг не останавливаясь, сновали белогрудые слуги Гиппократы, мистер Ждонсон, всё такой же жёсткий на вид, но на пять сантиметров вглубь обмякший в прохладе реабилитационной клиники, железным скрипучим голосом настоятельно рекомендовал сестре Лекси не освещать причины её болезни.

— У Вашей сестры синдром Барлоу — пролапс митрального клапана, мы все знаем трагедию, развернувшуюся вокруг вашей семьи, поэтому я прошу Вас ничего не рассказывать ей о причинах, толкнувших её на столь отчаянные действия, — сказал врач слова, упавшие как камни на дощатый пол кабинета и надёжно запутавшиеся в табачном дыму.

— А если она вспомнит, кем мы будем в её глазах?

— Это необходимо исключить, Ваша сестра приняла очень большую дозу люминала, что привело к барбитуровой коме и фактической смерти мозга. Это просто чудо, что она выбралась. Но, препарат, вызвавший клиническую смерть, разрушил нейроны, отвечающие за любые воспоминания, следовательно — некрозу подверглись и те клетки мозга, которые нам не были нужны, если так можно выразиться.

Доктор держал в руках свои очки, на дужках которых сверкали лучи из его глаз, и молчал.

— А как вы объясните то, что у неё глаза открывались, я сама видела, а однажды она очнулась!

— За всю историю болезни Вашей сестры такой факт не имел место.

— Так вы же сами рассказывали, что она вытащила капельницу из руки, там сломала что-то, о, это, она может, как зомби была, по коридору же далеко ушла?

— Это — просто мышечный рефлекс, тактильные воспоминания плоти, тело, если говорить неофициальным языком, живёт своей жизнью, вспомните езду на велосипеде, Вы когда на нём ездили в последний раз?

— Да лет десять назад.

— А если сейчас Вам предложить прокатиться, сможете?

— Да, конечно, там же ничего сложного, крути педали, пока не дали.

— Тут не совсем верно, вот если, на Вас сейчас, скажем, надеть коньки, и поставить в центре ледового дворца?

— О, доктор, я не умею, сразу же носом в лёд, в детстве пытались меня учить, но безуспешно.

— А если бы научили, то будьте уверены, что, сколько бы лет не прошло, Вы встали бы на коньки как заправский хоккеист и помчались высекать ледяную пыль острыми лезвиями.

— Доктор, вы мне льстите.

— Я говорю о памяти мышц, это невероятная вещь.

— А как же память мозга?

— Здесь гораздо более тонкая субстанция.

— Значит, она не вспомнит.

— Ничего, что касается самого инцидента, включая один день до этого. Такова особенность этого вида амнезии, в ваших интересах поберечь сердце своей сестры.

— А если она как-нибудь узнает про своего ребёнка, который родился мёртвым, и про то, что больше не может иметь детей?

— Это убьёт её.

— Я приложу все усилия, чтобы уберечь свою сестру.

— Да уж, постарайтесь, и помните, никаких волнений, от этого зависит жизнь вашей Лекси.

— Всё ясно, спасибо, доктор.

— Желаю удачи, звоните мне, держите в курсе, — сказал доктор, надел очки в роговой оправе и, твердея матовым лицом, открыл журнал.

Через несколько дней разум Лекси, рвущийся туда, откуда был насильно извлечён, вспыхивал впечатлениями, которые гасли бесплотным пламенем как в центре магниевой кучи. По законам психических аномалий, её память на короткие, не уместимые в систему нашего времени отрезки, озарялась яркими огнями воспоминаний. Началось все с того, что Фелексия нашла в платяном шкафу фотографию моря. Старая картонка затухающе темнела синевой. На вспухнувшем от влаги глянце коричневели два предплечья, обвитые проволокой мускулов. В смуглых крепких ладонях, больше двух лет назад зачерпнувших горсть солёной воды, угадывалась прозрачная медуза. Лекси стояла и смотрела на то, что было у неё в руке, не находя своего отождествления с этим предметом, и у неё шевелилось в груди. На её глаза изнутри надавил серый мрак и через секунду исчез, из головы потянулся тончайший шлейф, как загипнотизированная звуками флейты гремучая змея.

В открытой двери — сестра, и сквозь слайд шоу посторонних модуляций Лекси всё же видна её рука, выхватывающая фото.

— Что это, что с тобой? — спросила немеющим ртом Лекси у сестры.

— Нничего, это просто чужое, — ответила сестра и забрала предмет из руки Лекси.

С этого дня начались непонятные вещи в такой недавней и свежей жизни. Эти вещи дали единичному эпизоду в закрытом кабинете врача право на множественное воспроизведение, потому что на самом деле — ничто не должно быть забыто и потеряно.

Часто Фелексия просила сестру рассказать, что-нибудь о её прежней жизни. Её память жаждала заполнения, её душил вакуум двадцати прожитых лет, и та рассказывала, милосердным обманом выкармливая войлочного зверя по имени Страх, который питается ложью от жалости, от благородства и ненависти. Растущий, но не наполняемый, каждый раз он требует прикрыть себя новыми жертвами.

Сестра была вынуждена лгать. Она охраняла Лекси от какого-то неведомого прошлого, она не хотела, чтобы оно пришло и охватило грязными руками новую жизнь. Лекси безоговорочно верила сестре, слушая ночами и вечерами эти истории, и пропитывалась своей несуществующей жизнью, которая и не могла существовать. Но однажды в эту цитадель проникла бактерия неверия, и поразила весь оплот выстроенных на воздухе крепостей.

Сонная клиника всё так же ревностно берегла за железными рёбрами арматуры холод — амфетамин покоя и размягчения человеческой жёсткости на пять сантиметров вглубь. Сестра Лекси исчезла за широкой дверью врача, поглощающей все звуки, и говорила в тонкое стеклянное лицо выплавленного доктора. И доктор тоже говорил ей. А сверху, если убрать плиту перекрытия, видно было бы, что две сестры сидят по обе стороны стены, как симметричная абстракция. Лекси никогда не заходила в кабинет с доктором, доктор сам выходил и кидал со стеклянного лица взгляд в наполняющийся колодец её фальшивой памяти. Дома Лекси настиг предсон, — эфемерная пелена последующего падения внимания в глубокие плексусы. Ей приснился какой-то тревожный сон, она даже не помнила ни единого эпизода, просто какая-то неясная муть бередила её разум, чувство тревоги осталось у неё и после пробуждения. Проснувшись, она почувствовала запах дыма. Фелексия подошла к окну и отдернула занавеску, встав с правой стороны окна. Багровое солнце почти уже касалось своим краем земли, и красные лучи наподобие покрывала окутывали все вокруг. Они, проходя сквозь стекло, золотили левое плечо и часть рыжеватых волос Лекси. Были плечи, усыпанные каскадом тяжёлых волос, за ними кристальное стекло незримо отгораживало неведомый призрачный мир, за стеклом возле догорающего костра стояла сестра, тоже, как и всё остальное, залитая красным цветом.

Здесь всё было как в кинофильме, когда важна именно панорама, а не действие, именно вид, даже не трёхмерный, а вполне хватило бы и плоской инсталляции: левое плечо Лекси, несколько прядей волос, стекло, двор, залитый рыжим, костёр и сестра. Но именно будучи изображённой на этой двухмерной картинке, Лекси впервые поняла, что её обманывают.

Позже, когда сестра вернулась со двора, и пошла готовить ужин, Лекси вышла в сумерках на площадку и подошла к костровищу. Сгорело не всё. В дымящейся куче пепла она различила обрывки фотографий, что-то похожее на полуобгоревшие тетради и мягкие игрушки, расплавленные до состояния липких комков. Фелексия потянула за край большой кусок цветного фото, и, отряхнув его от золы, окунула в луч света, падающий с линзы приподъезного фонаря. Она увидела всё те же самые руки, которые были запечатлены на снимке, найденном ею в шкафу, но было ещё и тело не то моряка, не то спортсмена, одетое в оранжевый спасательный жилет. Лицо отгорело, но Лекси почему-то показалось, что моряк должен улыбаться, и что у него невероятно белые зубы. Она бросила огарок фотографии в

потухший костёр и пошла домой.

* * *

Однажды сестра пригласила Фелексию в ресторан, отметить её чудесное выздоровление. Между такими похожими внешне сёстрами, но такими разными внутри, появился предсказуемый обрыв. Но ещё тяжелее было оставаться одной в бетонном монстре, взнесённом к небу, и Лекси согласилась. Через пятьдесят бесконечных минут таксомотор с закруглённым как у торпеды носом, привёз их в ресторан «Карма» в восточной оконечности города. Здесь высотных домов было меньше, и даже кое-где проглядывали чахлые кусты, отчего величие человеческого бетонного паразитизма казалось малодушным и тщеславным. Посреди площади, расчерченной узорами брусчатки, возвышался застеклённый параллелограмм. Слово кровавым трудом созданный на костях пращуров, он поражающе воображение. У входа в ресторан стояли две исполинские каменные фигуры. Внутри сводчатый потолок скреплял закруглённые стены, обшитые серебристым бархатом. На стенах висели медные барельефы в виде щитов, с изображениями драконов и рогатых лошадей, осёдланных азиатскими всадниками. Несчастные, гонимые войной существа, рвались из медного плена, и, вращая от ужаса белками, нависали над столами посетителей.

Мебель, — низкие столики и стоящие возле них серые кресла, обтянутые змеиной кожей, добавляли правды в самодельный и добровольный обман. На сцене играл музыкант, одетый в длиннополый дыгыл, и его однострунный инструмент, перетекая плоским корпусом в невероятно длинный гриф, издавал заунывные звуки. Мелодия, не имеющая точек опоры, была будто взята из ниоткуда, казалось, она была всегда, но на уровне, недоступном восприятию. Лишь только здесь и только сейчас, мы можем видеть, или даже осязать её малый фрагмент.

Как только сёстры, похожие друг на друга как две капли воды, сели за низкий столик, и наглухо зашитый в синюю униформу официант принёс им меню — толстую серебристую книгу, сразу всем стало понятно, что эти женщины, в действительности, — одно целое между собой и этим монументальным, и даже мрачным в своём величии заведением. Грация и причёски, одежда и лица женщин великолепно вписались в пёстрый холст праздника. Казалось, что они — две восточные путницы, пересекающие многокилометровую пустыню и в жаркий полдень зашедшие в юрту номадов посидеть за остуженным в пыльных глиняных чашках зелёным чаем, при помощи пара растворённым дремучим стариком — аскетом между двумя частями молитвы.

Вечер был приятен, сёстры вели непринуждённый разговор, и, хотя не было между ними уже того доверия, как раньше, они обе не хотели разрушать эту лениво — сонную атмосферу, и больше молчали, чем говорили. Но всё же на минуту Лекси создала напряжение, спросив что-то невпопад.

— Клейсти, — начала она, как бы очнувшись от глубокой задумчивости, — можно тебя спросить?

Так в их семье звали сестру — сокращённо от Экклесия.

— Да, — сказала сестра.

— У тебя когда-нибудь был парень?

Она увидела, как Клейсти чуть не подавилась шампанским. Брызги шипучей жидкости выплеснулись из её рта на скатерть.

Казалось бы, что в этом вопросе такого странного, молодые девушки часто разговаривают о таких вещах, тем более сёстры, но Клейсти была поражена этим вопросом,

так неожиданно для неё он прозвучал.

— Э, — сказала она, — ну конечно, я же взрослая девушка.

— А у меня? — задала Лекси вопрос, который поставил сестру в окончательный тупик.

Однако пауза была недолгой.

— Вокруг тебя постоянно вились парни, но ты знаешь, они для тебя все были не умные какие-то, мелковатые, и...

— А что это за парень был на фотографии, которую ты у меня взяла?

— Этот человек... он... совершенно посторонний, он отношения к нам не имеет.

— Ну почему-то же его фото оказалось в моём шкафу?

— Ну... это случайно, это муж моей подруги... она...

— Что она?...

Клейсти как змея извивалась под изучающим взглядом сестры. Она не могла найти места рукам и вообще всему телу.

— Да что он так тебе дался, — сказала вдруг она, — что красивый, да?

Теперь краснеть пришлось Лекси.

— Да нет, я так просто.... Я даже лица не видела.

— Ну ладно, давай забудем.

— Забыли.

— Я думаю, не пора ли нам, мы что-то засиделись.

— Да, пожалуй, — зевнула Лекси, надо домой ехать, но мне нужно в туалет ненадолго.

— Хорошо, я тебя подожду.

Лекси встала из-за стола и тут поняла, что слышит некий шум в своей голове. На выходе из зала, шум стал ассоциироваться у неё с вращением лопастей взлетающего вертолётa. Лекси, держась за голову, прошла по коридору, открыла кованые бронзовые двери и зашла в женский туалет. Прямо напротив дверей висело большое зеркало в полтора человеческих роста. Лекси наклонилась к зеркалу поправить причёску, и ей показалось, что отражение пошатнулось. Звук в голове стал напоминать ей бесконечный свистящий вдох огромного человека, больного астмой, её напугала мысль, что когда исполин закончит вдыхать, он громогласно выкрикнет в предсмертной агонии страшное слово, и от этого у Лекси взорвётся голова. Она с удивлением начала вглядываться в тёмную, едва шевелящуюся поверхность. На ней вдруг стали вспыхивать какие-то образы, разные голоса стали выкрикивать сквозь стекло неясные слова, ошеломляющая музыка ворвалась в сознание Лекси, и она схватилась за край раковины. Внезапно всё прекратилось, череда образов остановилась, и перед глазами девушки осталось только зеркало, расплавленное серебро которого колыхалось как в страшном сне. В этом студенистом, дрожащем веществе, она увидела страшную картину. Прямо на неё из зеркала смотрело существо из её кошмаров, житель её галлюцинаций, обитатель её бреда. Под низким лбом весело и испытующе мерцали выпученные чёрные глаза, в жуткой улыбке растягивалась оскаленная волчья пасть, наполненная клыками в три ряда. Фантом, удивлённо оглянувшись, начал мускулистыми руками расталкивать желеобразную массу вокруг себя. Девушка от ужаса лишилась сознания и упала на пол.

Через мгновение в туалет вбежала Клейсти, обеспокоенная долгим отсутствием сестры. Увидев её лежащей на полу, она оттащила бездыханное тело к двери и повернулась к зеркалу. То, что она увидела там, заставило её зашипеть. Крича какие-то нечленораздельные фразы, она, разбежавшись, ударила в зеркало ногой, обутой в сапог на толстой подошве.

Громадный пласт стекла, сверкнув амальгамой, разлетелся на большие куски, которые осыпались на пол. Потом Клейст вытащила волоком сестру в коридор и закрыла дверь.

Через десять минут приехала амбулатория, и сестёр увезли в клинику, где Лекси, которая была всё ещё без сознания, поставили укол.

Ещё через полчаса Экклесия вбежала в кабинет доктора Ждонсона и начала кричать.

— Что это, вы же обещали, что она выздоровела, вы клялись, что она ничего не вспомнит!

Доктор недолго был шокирован поведением женщины, он быстро взял себя в руки и, со стеклянным хрустом поправив галстук, сказал:

— Присядьте и успокойтесь, в чём дело, что случилось?

— Мы только что были в ресторане, там сестре стало плохо, она разбила зеркало и упала в обморок. И к тому же она постоянно что-то вспоминает, постоянно меня спрашивает о том, о чём не должна была бы помнить по вашим заверениям, я уничтожила всё, что могло ей напомнить о прошлом, об этом инциденте, а она всё равно меня спрашивает, ещё это зеркало, что с ней?

— Мисс Клейст, я прошу Вас, присядьте, пожалуйста, — спокойно и внушительно сказал доктор.

— Благодарю, извините меня, — сказала Экклесия и села на стул.

— Мы имеем дело с очень тонкой материей, здесь нельзя ничего гарантировать, амнезия — вещь капризная, но ещё не зарегистрировано ни одного случая, когда бы пациент вспомнил всё полностью. Это просто не возможно.

— А что с зеркалом? Что это за странности!

— Вот здесь я прошу Вас набраться мужества и выслушать меня. Произошло то, чего я опасался. Я много лет наблюдаю Лекси, из-за комы возобновилась её детская болезнь. У вашей сестры эйзоптрофобия.

— Эйзоптрофобия? Что это значит?

— Если выразится по-другому, то это — спектрофобия или боязнь зеркал.

— О, боже, что за бред?

— Вы должны успокоиться и принять действительность как она есть, это психическое заболевание, подобный приступ будет происходить всякий раз, едва она взглянет в зеркало.

— Ну что она теперь в зеркало не будет смотреться, что ли?

— Да, пока это невозможно.

— Я ничего не понимаю.

— Механизм болезни неясен. Больному кажется, что он видит какое-то чудовище, или что из зеркала кто-то хочет вылезти и убить его, спектрофобия — один из неизученных областей шизофрении, специалисты полагают, что это — тонкая форма мании преследования.

— Но какова природа этой... болезни. И откуда вы знаете про это?

— В своё время я защищал научную работу по спектрофобии, это был мой дипломный проект. С древности люди боялись своего отражения. В шестнадцатом веке один феодал страдал странным недугом. Он согнул медное зеркало, когда его брил цирюльник. Ему показалось, что оттуда кто-то хочет вылезти. Древнеримский поэт Фекалий страдал паранойей, он боялся воды. Как позже выяснил придворный врач, это не была водобоязнь, он боялся увидеть своё отражение. Спектрофобия — это ужас перед зеркалами, это ненормальный и постоянный страх. Пациенты испытывают неуместное беспокойство. И это

при полном понимании того, что этот страх неконструктивен. Этот ужас часто основывается на народных приметах, помните, люди всегда опасались, что разбитое зеркало принесёт неудачу.

Экклесия удивлённо молчала.

— Но я должен сказать кое-что в защиту этого суеверия. Справедливо полагать, что если человек долго смотрится в одно и то же зеркало, там формируется как бы его вторая жизнь, тесно связанная с настоящей, и поэтому, если разбить это зеркало, то деструктивный эффект придёт и в настоящую жизнь. В практике Фен — шуй тоже не рекомендуется вешать зеркала там, где они могут отражать скопления негативной энергии, она как бы будет удваиваться. В восточных странах не вешают зеркал в туалетах. Это считается неприличным. Для многих зеркало — это второе я, там отражается кто-то другой, и этого другого нельзя огорчать неуважением.

— Но разве у моей сестры раздвоение личности?

— С раздвоением личности это ничего общего не имеет. Это скорее более тонкая вещь. Да вы и сами с детства сталкиваетесь со спектрофобией.

— Я?

— Вы гаданием занимались когда-нибудь?

— Ну, конечно. Все девушки этим занимаются. Там, мужа нагадать, и так далее.

— Вот это-то оно и есть. Я понимаю, Вы женщина смелая, но всё же хоть чуть-чуть боялись?

— Да, в детстве бывает много сверхъестественных страхов.

— Есть люди, которые приносят эти страхи во взрослую жизнь. Как осколки детства. Звучит невероятно, но это служит им защитой от другого страха, — страха взрослой жизни. Боюсь, это как раз случай Вашей сестры.

— Но что же делать?

— Пока Вы должны исключить использование зеркала.

— Как девушке обойтись без зеркала, как она будет за собой следить?

— К счастью, мы не в пятнадцатом веке, есть один эффективный способ: видеокамера.

— Видеокамера?

— Ну да, вы устанавливаете видеокамеру так, чтобы она была направлена на того кто смотрится, а на экран транслируется изображение.

— Довольно неожиданное решение.

— Пока это самый лучший выход, будет хорошо, если Вы установите монитор с камерой, а уж программ хватает в наш век.

— Всё ясно доктор, я сделаю всё, что от меня зависит.

— Постарайтесь оградить её от стрессов.

— Хорошо. До свидания.

— Всего доброго.

* * *

Вечером Лекси стало лучше, и её выпустили из больницы. Когда она приехала домой, то была поражена сменой интерьера. Не одного зеркала не было. Стены мрачно серели без своего блестящего одеяния, штукатурка пузырилась как кожа прокажённого, с которого сняли дорогую парчу. Даже большое старинное зеркало, вмонтированное в стену родителями девушек, бесследно исчезло.

— А, где все зеркала, Клейсти? — спросила Фелексия, оглядывая квартиру, которая

стала меньше в два раза.

— Сядь, пожалуйста.

Лекси присела на софу.

— Понимаешь, тебе... больше нельзя смотреться в зеркала.

— Что?

— Ты помнишь, что случилось в ресторане?

— Слушай, не делай из меня идиотку, я в полном порядке, конечно, я помню, там... из зеркала пытался вылезть какой-то урод, собака какая-то с человеческим телом...

— У тебя развилось небольшое заболевание, оно называется спектрофобия, — зеркалобоязнь. Ты им ещё в детстве болела.

— Что за чушь?

— Там, в ресторане, никого не было в зеркале, это была галлюцинация.

— Прости меня, Клейст, я может и была в коме, но пока ещё с ума не сошла. Говорю тебе, из зеркала кто-то лез!

— И поэтому ты его разбила?

— Я?

— Ну, вот видишь, ещё ты не помнишь ничего. Я там с администрацией еле договорилась, хотели в суд подавать.

Лекси замолчала.

— Ты не переживай, — сказала ей сестра, — доктор говорит, что это неопасная болезнь, и что почти каждый человек когда-то в жизни болел этим в той или иной степени. Нужно только пока воздержаться от заглядываний в зеркала.

— И что ты мне предлагаешь, — в бомжиху превратиться?

— О, зная тебя, такую кокетку, да ты что!

— А, дай угадаю, ты мне будешь до конца дней мэйк ап делать.

— Ну не язви, иди лучше я покажу тебе кое-что.

С этими словами Клейст встала и взяла Лекси за руку.

В прихожей стоял большой прямоугольник, накрытый тканью. Клейст потянула за конец материи и в плоском мониторе Лекси увидела своё изумлённое лицо.

— Это что?

— Монитор, 209 в диагонали, со сквозной камерой и передачей двадцати тысяч цветов, разрешение 100 мегапикселей. Кучу денег стоит, но для сестры ничего не жалко.

Лекси приближала и отдаляла своё лицо от громадного монитора, по сути являющегося электронным зеркалом.

— Ну а если я, например, захочу на улице посмотреть на себя, что с собой везде ноутбук носить?

— Всё продумано, сестрёнка! — воскликнула Клейст, и торжественно вручила Лекси смартфон с двойной камерой.

— Где ты столько денег набрала-то, — спросила Фелексия свою сестру.

— Банк ограбила. Шутка.

* * *

Мглистый ветер принёс влажную прохладу и налил её в сердце душевной ночи. Он говорил с Лекси через её сны, через шторы, бесшумно колышущиеся в чернеющем проёме окна. Он стучался дождём в стекло, просил впустить его. Но стёкла в окнах давно были заменены на пластик, не дающий отражения даже такой ночью, как сейчас, когда мокрая

темнота вместе с пустотой ещё хранит живтворные струи воды и шуршит ими по обрадовавшимся дождю деревьям. Ветер один мог сказать Лекси, кого она потеряла в своих снах, где высятся чёрные отроги Аллатрионских гор, где серые башни Терраполиса угрюмо возлежат у подножья вертикальных миров. Лекси пыталась разглядеть хоть что-нибудь в мутной плёнке, и её хрупкая фигура замирала в прямоугольнике окна.

— Тебе тоже не спится? — не появилось отражение сестры в стекле.

Только голос. Голос, как будто оцифрованный компьютерной программой.

— Пойдём в парк, там сейчас хорошо, дождик.

— Мы не возьмём с собой зонтов, да?

— Да.

В парке, несмотря на дождь, на скамье — неуёмная компания, бездонными ртами поглощающая углеводород. На краю скамьи — гитарист, обрывает с мозолистого грифа растяжки струн. Дождь вплавляется в шипящие пульсации, и звук, даже не звук, а акустическая муть, минуя барабанные перепонки, впитывается в мозг, в мышцы, в кости и жилы.

Визг тормозов, серое тело полицейского джипа, разрывая фарами плотную мешковину дождя, появляется как неуклюжий и скользкий монстр из кустов.

Опущенное стекло, широкое лицо, тяжёлая челюсть, всякое отсутствие лба. Под маской — красное удостоверение.

— Прошу вас проехать с нами.

— В чём дело? — говорит сестра.

— Проедемте, мы вам на месте всё объясним.

— На каком основании, покажите ордер.

— Ты не наглей тут, сестричка, а то ща бует те ордер, — высунулась из заднего окна вторая бессмысленная жестокая маска. Из окна свесилась резиновая дубинка, похожая на букву «Н» с отломанной правой стойкой.

Сёстры сели в дряхлые сиденья непонятно как ещё живущего джипа, и фары, выхватив на стандартную секунду пьяную компанию, вырезали из тьмы кусок дождя в воротах парка.

Панорама полицейского участка походила на четвёртую страницу комиксов «Раскрась сам», размалёванную химическими карандашами ребёнком — дальтоником.

В тупое бетонное крыльцо упёрлись кованые берцы и женские туфли — лодочки.

Внутри было как в целлофановом пакете. Духота была не просто враждебной, она была ещё какой-то умышленно подлой.

— Так, что попались, птички, развести по кабинетам, эту ко мне! — заорал радостно следователь и ткнул толстым красным пальцем в Клейст.

Он был похож на большой медный самовар с усами, до красноты начищенный кирпичом. Отглаженное брюхо как желе колыхалось от холодной воды, которая через полчаса станет кипятком, и начнёт вытекать через маленький краник. Клейст по-настоящему стало интересно, на шишках он работает, или на дровах.

Следователь завёл её в свой кабинет, и, указав медной рукой на хищно раскорячившийся стул, произнёс:

— Присаживайтесь.

Клейсти смотрела на него, пока он доставал с полки своего письменного стола куски листового железа, с выбитыми надписями «ДЕЛО №».

— Так посмотрим, что у нас есть на вас.

«Самовар с усами», — подумала Клейсти, — «На шишках всё-таки. Не хватает ему такого сапога на голове, сморщенного в гармошку, на который если пару раз нажать, из ушей пар пойдёт, может глаза засветятся и завращаются, но хотя нет, это же не электроника, аналоговый вариант, устаревшая модель».

— Ну что, оставим обиняки, — сказал Самовар, — Экклесия Чарст, сразу выдадите государственного преступника Карла Олдриджа, которого вы укрываете, или будем по-другому разговаривать?

— Да вы же знаете, что нам не о чем говорить, вы же следите всё время за нами, какой Карл? — сказала Клейст и подняла глаза выше головы инспектора. На стене висел портрет с чёрным лицом, рыжей бородой и белыми глазами, ненавистно глядящими из-за мутного прыщавого стекла. Две головы — одна верхняя, другая нижняя, представляли собой одного целого монстра из страшных сказок.

— Где Олдридж? — сказала нижняя голова.

— Вы прекрасно знаете, они давно разведены, год назад почти. Мы не имеем никакой информации о нём.

— Он сбежал, вы-то точно в курсе, где он, это же жёнушка его, развелись для вида. У?

— Лично я не обладаю никакими сведениями о нём, а Лекси перенесла кому и ничего не помнит.

— Харош мне тут баки фармазолить, я то всё про вашу шайку знаю.

— Она перенесла кому и ничего не помнит.

— Ах, совсем ничего не помнит, а у нас другая информация, — сказал Краснолицый и нажал на кнопку.

— Федериксон, введите доктора.

На пороге показался мистер Ждонсон. Он был не менее стеклянен, чем в свой больнице, но это стекло было готово лопнуть.

— Доктор, — воскликнула женщина и бросилась было к Ждонсону, но толстые ручки от самовара вдавили её в стул.

— Слушайте, почти вся шайка в сборе, давайте уже колитесь. Доктор, вам знакома эта женщина? — брякнул медью инспектор.

— Да, конечно, это мои пациенты, а в чём дело? — хрустально-благородно прозвенел мистер Ждонсон в ответ.

— Они укрывают государственного преступника, надеюсь, вы уже не заодно с ними?

— Это всё ложь... — начала Клейсти.

— Молчать! — заорал Краснолицый, рёв был такой, будто на асфальт вывалили грузовик гнилых медных тазов.

— Обсидиан Ждонсон, вы являетесь лечащим врачом сестры этой женщины, Лекси Олдридж, девичья фамилия — Фелексия Чарст? — затихая дребезжали тазы, теряя форму кучи.

— Да, под моим наблюдением она выписывалась из клиники, я наблюдаю её и сейчас. У неё амнезия.

— Но ведь вы говорили нам, что она что-то начинает вспоминать?

— Да, это совершенно аномальный случай.

— Дак может она вспомнит, где Олдридж?

— Прекратите весь этот цирк, господин следователь, я прошу вас.

— Мисс Чарст, ещё одно слово без моего разрешения, и я прикажу вас посадить в

изолятор. Имею полное право. Как не уважающую следствие.

— Продолжайте, мистер Ждонсон, так как вы говорите, она всё-таки вспоминает? А?

— Я уже говорил Вам, что она испытывает множественные рецидивы не известной науке болезни, всякий раз после очевидной ремиссии, но это не имеет никакого отношения к Вашему следствию.

— Ну а может быть, какой-нибудь, как Вы говорите — рецидив, покажет нам, где прячется преступник?

— Да Вы что, инспектор, не говорите ерунды, рассуждать так, это то же самое, что надеяться на то, что какой-нибудь параноик в припадке поведает нам, где закопано золото Чингиз — хана.

Дверь затряслась от мощных ударов.

— Федериксон, что там у тебя? — вырвался столб пара из самоварной топки.

В проёме показалось белое, как лист бумаги лицо коридорного.

— Там... Там, задержанная, она в обмороке. Бледный палец показывал на широкую створку окна, заклеенного зеркальной тонировкой. Три пары глаз проследили за пальцем, и все увидели Лекси, как мешок с мукой съезжающую по стулу.

Доктор подскочил к окну и, покраснев, крикнул:

— Да вы с ума сошли, невежды, вы посадили её в зеркальную комнату, у неё же спектрофобия!

— Спектрчто? — непонимающе похлопал Самовар.

— Боязнь зеркал, быстро, пустите меня к ней, ей немедленно нужен укол!

Все трое вбежали в соседний кабинет. Лекси лежала на полу, и её била крупная дрожь. В углу рта пенилась белоснежная слюна.

Доктор властно оглядел столпившихся блюстителей порядка, воззрившихся на скрюченное тело, как овцы на новые ворота, и негромко сказал:

— Немедленно принесите мой чемодан.

Какой-то из младших чинов рванулся в проём и вернулся с чёрным дипломатом, по углам окованным серебром.

— Выносите её отсюда, — приказал мистер Ждонсон столпившимся в дверях полисменам. Трое подхватили трепещущее тело и вынесли в коридор. Там Лекси, как сломанную куклу положили плашмя на стулья, сколоченные по три.

Доктор достал из блеснувшего белым зева чемоданчика шприц и набрал в него какую-то жидкость из зелёного флакона. Тонкая игла пробила бледную кожу в области шеи, и в белки открытых глаз Лекси откуда-то сверху спустились голубые шарики радужной оболочки.

— Все, всё в порядке, — шептал доктор, поглаживая Лекси по голове, пока две наглые руки хамски вырывали чемодан у доктора.

— Ну что всё? — сказал Самовар, — можно допрашивать?

Люди и нелюди, созданные из разных материалов, молчали.

— Ну что тварь! — заорал вдруг медный комиссар в испуганное лицо Лекси, — говори, где Олдридж!

От этого крика Лекси снова забила дрожь, и девушка схватилась за стулья, на которых лежала.

— Вы будете отвечать перед законом, не думайте, что Вам всё дозволено, — керамически-жёстко доктор.

— Увести, его! — крикнул фас Самоварный следователь, и двое охранников заломали

под руки несгибаемого стеклянного доктора.

— Я обещаю Вам, вы ответите, — шевелились фарфоровые губы врача, когда его тащили по коридору. Звуки его голоса разбились о чёрствый коридорный бетон и рассеялись во тьме.

— Разберёмся, кто тут будет отвечать, тварищ коновал. Несите эту ко мне в кабинет.

Извивающуюся и стонущую Лекси занесли в кабинет Самовара.

За столом инспектора королём сидел человек в форме другого цвета, чем та, которую носили все сотрудники отделения, и как лазером сверлил вошедших никелированными зрачками.

— Что здесь происходит, Медьюсон, мать твою? — почти не пошевелившись, изрёк круглый рот.

Самовар как-то сразу сдулся и превратился в медную грелку, из которой вылили воду и замяли её сапогом.

— Мм, это. Допрос. Красно-кирпичный цвет лица сменился на серебристо зелёный. Самовар медленно растворялся изнутри в серной кислоте страха.

— Трибунал вам обеспечен. Пошёл вон.

Зеленеющие руки, покрытые сульфатом меди, закрыли дверь.

— Я Жог Тэйфелл, служба безопасности, что здесь происходит? — спросил властный человек у Клейст. И присаживайтесь, пожалуйста.

— Я не знаю, — сказала Экклесия, — нас забрали в парке и привезли сюда, и этот, — она махнула головой в сторону двери, — угрожал и спрашивал про какого-то преступника. Её рука гладила по голове сестру, снова потерявшую сознание.

— Я обещаю вам, что Медьюсон понесёт заслуженное наказание, но я прошу вас помочь нашему следствию.

— Сначала окажите необходимую помощь моей сестре, а потом поговорим.

— Хорошо, мы увезём её немедленно в лазарет Службы Безопасности.

— На каком основании, она же не психически больной преступник?

— Это необходимость, для её же безопасности.

— Я тоже поеду.

— Это закрытое учреждение, вас туда вряд ли пустят.

«Все они одинаковые, эти псы, типа один злой другой добрый, какая пошлость», — подумала Клейст, а вслух сказала другое, и её слова прозвучали в отчётливой тишине кабинета, как шипение маленькой, но очень опасной змеи:

— Моей сестре очень плохо, быстрее.

Через десять минут Фелексию без сознания привезли в огороженную проволокой больницу. От простой больницы этот госпиталь отличался тем, что там лечили людей, признанных судом невменяемыми.

Заалело утро. Солнце вышло из-за горизонта, и было похоже на вырезанный из фанеры круг, освещающий не город, а картонную декорацию.

Ещё через час Экклесия набирала номер телефона из будки автомата на углу.

— Нашла? — раздался из динамика хриплый голос.

— Нет, нам помешали.

— Кто?

— Из центрального управления, такой рыжий, на медный самовар походит. Медьюсон, кажется.

— Считай, что он уже на иконы пошёл. Что ещё.

— Лекси в госпитале С.Б.

— Завтра заберёшь её, выпустят беспрепятственно.

— Тут все разыскивают этого, повстанца...

В трубке раздался скрежет зубов.

— Я сам бы его хотел видеть.

— Послушай, может она у него?

— Ищи.

— Но как мне к нему подобраться?

— Тебе доступна вся информация.

— Какая информация?

Вместо ответа — в трубке короткие гудки.

Утром следующего дня, Клейсти проникла в лазарет и пронесла гражданскую одежду сестре. Они, никем не замеченные, покинули больницу, и вышли на оживлённую улицу.

— Куда мы идём? — спросила Лекси.

— Нужно идти домой, все хорошо.

— Хорошо? Ты что меня за дуру держишь? Клейсти, ответь, что происходит? Почему нас забирает полиция? Кто такой этот Карл?

— Лекси, это всё недоразумения, это не имеет к нам никакого отношения.

— Как не имеет, кто эти люди, почему полиция, если ты сейчас же не скажешь, в чём дело, я дальше никуда не пойду.

— Успокойся, я тебе клянусь, что это всё полна ерунда.

Лекси вырвала своё запястье из руки сестры и остановилась посреди улицы.

— Ладно, хорошо. Вот придём домой, я тебе всё расскажу. Ты мне веришь?

Ноги Лекси продолжили мягко пружинить по городскому асфальту.

Снова начался дождь. Город, такой грязный и пыльный, умылся серебряными потоками.

И тут, в эту секунду случилось то, от чего всё перевернулось с ног на голову.

На перекрёстке 14 — той улицы и Майнерал стрит, когда сёстрам до конца зебры оставалось пять метров, до их ушей донёсся сигнал клаксона. Как по команде повернувшись к источнику звука, они увидели мчащийся на них автомобиль. Сестра продолжала смотреть на джип «Навахо», с бешеной скоростью летевший на них, а Лекси повернула голову на неё. Она за доли секунды успела увидеть, как исказилось лицо сестры. За неуловимый отрезок времени, гримаса ужаса и ярости свела лицевые мышцы Клейст. Тогда Фелексия снова повернулась к джипу. Удар какой-то энергии заставил её отшатнуться в сторону. Как будто автомобиль уже врезался в неё. В летящем на них «Навахо» сидели два человека. Тот, который был за рулём, изгибался куда-то набок в достаточно высоком салоне, второй, на пассажирском сиденье едва доходил до плеча водителя. Из их глаз чёрным дымом вышел какой-то жуткий сноп видений, разбрасывая на несколько метров впереди себя потоки дождя, словно это был не дождь, а порезанный на тонкие ленты новогодний полиэтилен, пластиковыми червями свисающий вниз. Улица вместе с домами и людьми начала заваливаться набок, автомобили и светофоры сложились сами в себя и стали похожи на куски намокшего картона. Лекси инстинктивно снова повернула голову к сестре, ожидая увидеть её рядом с собой, но та как будто стояла на другом конце улицы, одновременно будучи в одном метре от Лекси. Словно в замедленной съёмке, её ярко очерченный рот появлялся с разных сторон, как если бы Лекси смотрела на сестру то в фас, то в профиль.

Из рта сестры не выходило ни звука. Откуда-то из темноты появилась рука Клейст и, смертельной хваткой впившись в воротник Лекси, выдернула её с дороги, как в другое измерение. За четыре поворота головы Фелексия успела прожить долгую жизнь.

На тротуаре к ней вернулся звук, цвет и дождь. Сёстры вбежали в подворотню, и дощатые строения по двум сторонам сомкнулись за ними, как если бы это был вид сбоку. Женщины не видели, но могли слышать, что жестяное тело Navaho 87 — х, подняв на воздух большую мутную лужу, впечаталось в светофорный столб. Мокрый металл обнял столб вокруг, как будто он был не твёрдым веществом с кристаллической решёткой, а крахмальным киселём. Почти в ту же секунду от разбитого кузова отделились обе боковые двери и взлетели в воздух. Два куска покорёженного металла ещё не успели опуститься на мостовую, как из салона выскочили неодинаковые тени и юркнули под арку. Только потом двери, дождавшиеся своей минуты, рухнули на асфальт. Этот синхронный звук был затактом полицейским сиренам.

В подъезде темно. В полумраке парадного видны два силуэта одинакового роста, сидящие на лестничной клетке.

— Клейст, кто это был?

— Это бандиты. Мы ещё не добрались до дома, ведь я тебе там обещала всё рассказать. Но теперь у нас нет дома. Они будут нас там ждать.

— Куда же нам идти?

— У меня есть одна квартира, моей подруги, она уехала и дала мне ключи. Если нам удастся пройти ещё два квартала, мы окажемся в безопасности. Я, кажется, начинаю понимать.

— Что?

— Мы должны бежать, здесь нельзя оставаться.

В промокших дворах лаяли собаки и орала молодёжь, когда две сестры пересекали по диагонали большой сквер.

— Это здесь, — сказала Клейсти и достала магнитную «таблетку» — ключ от замка на подъездной двери.

На втором этаже она остановилась и, прислушавшись, вставила ключ в замок на железной двери.

В квартире стоял лёгкий полумрак. Горел ночник, и мотыльки шуршали по лампе, осыпая по нагретому стеклу тонкую пыль своих крыльев.

— Дорогая, тебе нужно поспать, — тихим шёпотом оседает на стенах голос Клейст.

— Ты мне кое-что обещала.

— Тебе нужно отдохнуть.

— Ты — обманщица, — в голосе Лекси появляются слёзы как доминирующая тональность.

— Я ещё не всё до конца выяснила, — говорит сестра, сейчас ночь, утром мы уедем отсюда, и никогда, никогда, слышишь, это больше нас не коснётся.

— Посмотри на меня, — говорит сестра, и Лекси начинает тонуть в её туманном взгляде, который так бесконечен, так многообещающ.

я люблю свою сестру я знаю что она мне желает только добра сколько мы пережили вместе сколько раз она меня спасала от страшного я собираюсь пойти в туалет мой мочевой пузырь распирает я сама вся как пластмассовая бутылка с дешёвым пивом

осторожно ноги не слушаются меня не удариться бы об косяк хотя какой косяк никакого

косяка нет я могу пройти сквозь него как сквозь дождь

какой то звук его нельзя услышать ушами он не воспринимается любительскими домашними кинотеатрами не воспроизводится от него не трепещет грудь и он не осязаем за углом какой то комнаты разгорающийся свет ультрачастицы обворачивают дверной косяк и впиваются мне в левый глаз

на пороге ванной комнаты моя сестра и во рту у неё какая то флейта, или ещё что звука нет просто раздуваются лёгкие и свет искрит миллионами мотыльков

сестра что это с тобой

она не похожа на себя чёрные глаза чёрные руки чёрные ноги

ты тварь ты забыла карла он тебе этого не простит я знаю да не простит она встанёт на ноги

кто такой карл олдридж

тупая дура это твой муж он тебя бросил за то что ты ему ребёнка урода родила мёртвого обкололась ты ж пила как лошадь а потом он бросил тебя и ты в ванной таблеток обьяелась и чуть не подохла еле тебя нашли а карл олдридж это карина олегова жена Феликса Чернова я не понимаю кто это.

это ты дура

вдруг её череп раскалывается на две части и мне на лицо брызжет красный мозг он тёплый как младенец только что добытый из утробы

всё в порядке не печалься лекси это ложный самоликвидирующийся проводник его послал генерал чтобы запутать тебя я настоящая твоя сестра убей её

— Тихо, тихо, тихо... — гладит душистые волосы Лекси нежная рука сестры. Тихо, Лекси, это сон.

Летнее утро накрыло маленькую квартиру тёплым светом. Это был даже не свет, а подобие белой ваты.

— Клейст, мне приснился сон. Дурной сон.

Лекси в ужасе, как будто всё ещё находится в этом сне.

— Тихо, тихо девочка моя, всё в порядке, — Клейсти гладит сестру по пелчам.

Сон, ещё секунду назад бывший таким реальным, словно втягивается в какую-то трубу.

Лекси приходит в себя, она крепнет.

На кухне тикают часы, и эти звуки так же далеки от реальности, как реальность далека от Лекси.

— Слушай, Лекси, — говорит сестра, — я должна тебя оставить ненадолго.

— Нет, не уходи.

— Всё, всё, я скоро вернусь, сиди здесь, мы скоро уедем, у меня есть кое-какие дела.

Дверь никому не открывай, — сказала Клейсти.

Она встала и вышла в коридор. Серый плащ, скользнув полами по косяку входной двери, исчез в подъезде. В замке щёлкнул ключ, отрезая Лекси от внешнего мира.

Душный день сменился сонным августовским вечером, и на город легла тень от облаков, когда фигура в плаще скользнула в телефонную будку.

— Алло, это я.

— Я слушаю.

— У меня две новости, одна плохая, другая тоже, но вторая одним сектором кажется положительной.

— Не умничай.

— Я вышла на него.

— Стой, где стоишь, за тобой придут.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Клейст вышла из телефонной будки и запахла полы плаща.

Через час она уже сидела глубоко под землёй в глухом кабинете. Глухота была такая, что было слышно, как кровь пульсирует в ушах. Резиновые стены, пустой стол, привинченный к полу, единственный стул, всё это давило на психику.

— Теперь ты можешь говорить, — раздался мёртвый угрожающий голос из динамика, подвешенного к потолку.

— Я вышла на Олдриджа, я сегодня была в его логове.

— Ну и как он?

— Он был пьян в дрова, и, похоже, под наркотиками. Он не может её забыть.

— Ты нашла Код?

— Нет. Я перерыла всю квартиру, он либо носит его с собой, либо куда-то спрятал. Но он точно у него, он генерирует любую реальность, он создаёт коконы защиты, новые судьбы, он даже стёр себе память, я не знаю когда она ему отдала его.

— Почему ты не допросила его?

— Я была в подъезде, я вышла из квартиры, он как раз поднимался с улицы. Он принял меня за мою сестру. Я едва уехала от него в лифте. Он бежал за мной. Но теперь он думает, что ему показалось.

— Тем более, ты должна была использовать этот шанс и узнать, а не убежать.

— У меня сложилось впечатление, что он и сам не знает ничего. Да, и, кстати, что ты меня за дуру держишь, он — она, какая разница, я в состоянии понять, что пол для этих людей, всего лишь способ маскировки. И ещё, отзови от нас своих псов, шагу не дают ступить.

— Я вижу, ты уже неплохо начала в роль вживаться, ты забыла, кто ты на самом деле, и где я тебя подобрал. Мне ещё пока удаётся сдерживать самоликвидирующихся проводников, они утилизируют всё, что не связано с положительными моментами её, или если хочешь, его жизни. Так что не удивляйся, если вдруг встретишь своих двойников, которые будут поагрессивней, чем эта твоя сестричка, они опять станут тебя стирать.

В этот момент динамик загрохотал хохотом, захохотал грохотом, от чего со стен посыпалась чёрная пыль. Женщина презрительно посмотрела куда-то верх и ничего не сказала.

— Не упusti её, — продолжал хриплый низкий голос, поднимавшийся, казалось, с какого-то дна, — потеряешь — пиши пропало, больше тебя не стану перешивать, гори в аду. Не приведи тебе и в этот раз прохлопать ушами. Она снова уйдёт через какие-нибудь неизвестные каналы в недоступные плоскости, и ищи — свищи, а тебе точно конец. Пиши адрес Олдриджа.

Рука, с скрашенными в синий цвет ногтями, заскользила по белой бумаге, выводя название улицы, номер квартиры и код подъезда.

— Второе.

— Второе не слишком приятное, — появились реставраторы.

Динамик умолк. Это молчание было страшнее любого крика.

— Я знаю, — раздался глухой голос после продолжительной паузы, — я уничтожу их, это дело моей всей жизни, эти реставраторы мне как кость в горле, нужно не дать им

завершить свою миссию. В недалёком прошлом из-за одной моей оплошности, они сумели понять. Они уже давно в этом мире, и узнали почти все принципы воздействия на него. Тебе тоже следует их опасаться. И последнее: не давай объекту смотреться в зеркала, через них она видит другие линии. И, к стати, если до тебя доберутся реставраторы или настоящий СП, тебе тоже от зеркал не поздоровится. Всё.

После разговора Экклесию подняли на лифте наверх.

«Двадцать минут на скоростном лифте, это невероятная глубина», — думала она, трясясь в бесцветном железном коробе, — «зеркала, другие линии, умные все прямо, спасу нет...»

* * *

В отделении полиции с пола заметались осколки доктора Ждонсона.

— Ну как же вы так, — злобно сокрушался человек в светлой форме, похожий на чайник «Тефаль» без провода. Самовар, видимо, устарел, и его списали на свалку. А что поделаешь, — новые технологии.

— Давинаат, триць кмндир, престраались.

— Ну ладно, заметите его, и дело с концом.

— Ну вот.

В центральном отделе Собственной Безопасности висел табачный дым, вырывающийся из замасленных лёгких оперативников. Со стены смотрело овальными глазами чёрное лицо. Выше портрета, как символ абсолютной власти появилось рельефное изображение ослиной головы.

— Ну вот, теперь-то мы её возьмём, — радовался чайник «Тефаль», потирая пластмассовые руки, — все ко мне, на совещание.

Из коридоров потянулись сотрудники, от долгого нахождения в подлой духоте участка превратившиеся в предметы быта: деревянные разделочные доски касались спинок стульев выскобленными от долгого пользования поясницами, эмалированные кружки смотрели на начальника отбитыми кусками эмали злобных, дурнородных глазёнок.

— Ну и что, какие версии будут? — пробулькал Тефаль в пластиковой огнеупорной глотке шестью словами.

— Да я сразу знал, что они какие-то мутные, эти одинаковые.

— Ну и кто из них кого кончил?

— Да хрен их разберёшь, жмура нашли с колбасой всей внутренней, вывернутой на — гора.

— Чё там за заваруха-то вышла?

— Да подъехали с бойцами, хотели брать их, а оттуда шмалять кто-то начал, переколпашили всех, зашли туда, а они уже от нас смылись. А потом вот жмур выплыл.

— Волоки сюда глазёнки наши, эту старпёрку — свидетельницу.

В кабинет к следователю завели разваливающуюся бабушку. Её трясло.

— Ну не бойся, буся, прос скажи нам чё видывала, где была, да садись, в ногах правды нет.

— Дык не видала я ничё, милки, цветами торговала на углу шышынацатой, и смотрю чёт не то.

— Да лан, бабк, не напрягайся, чубышто?

— Да гляжу, ошивается там воле арки фифа такая вся рыжая — расписная, — одно видно — простигонка, и такая — юрк туда. А потом, через пять минут снова туда приходит с

улицы, я же не знала что их две, думаю, когда пропустила, как она из двора назад вышла. Ну, соседку попросила, говорю, Марфо, посмотри за травой моей, я щас возвращусь. Захожу во двор — от, а там — баатюшки светы, лежит эта размалёванная и все кишки, прости хоссподи наружу.

— И что вы подумали?

— Да думаю, мож какой хахаль кинул, вот и вскрылась, но так-то жестоко, в наше время таперича, все больше таблетки или там с крыш кидаются, опять же. Говорю же, не ведала я, что их две.

— Лан старушенция, не тебе здесь рассуждать, чем занимаешься?

— Дык милоч, цветочки, горшочки, опять же, гадаю моленька, и тебе могу напророчить супругу красиву, вижу, не обременён.

— Э, это не твоё дело, говори, наркотой промышляешь? Спирт палёный там и всё прочее?

— Иии милоч, ты чаво, живу покойно, тихо, никуда не лезу.

— Ясно, адрес свой оставь, мы придём, если надо будет, телефона, я так понимаю, у тебя нема.

— Это ж всё от диавала, канешно нет.

— Креативчук, утарань старушку до КП.

— Есть тарищ летнант.

— Слышь, Мухоссанский, може их вообще трое?

— Као?

— Ну, этих сестёр долбанных.

— Ты у Труппенгеймера спроси, у нашего патика, он те точняк скажет.

— А тройняхи бывают вопще-то в природе?

— Да не знаю я, Ментокрылов, отвяжись от меня, у меня и так крыша горит.

— Ну може тут покруче заваруха кака-нить.

— А почему ты так думаешь?

— А то у той, припадочной, кишка тонка, кака-та она зачуханная, не может она своей сестре ливер вытрясти.

— Значит та её. Видно, чтобы не сдала, да и потом кто их знат, мошт она овцой прикидывается, а сама акула. Пришила сестричку, чтобы та про муженька нам не рассказала.

— Не, тройняшки это перебор, это тока в сказках бывает.

— Да ты чё, Мусоренко, сам что ли сказок обчитамшись, гы — гы — гы.

— Юзеровичь, Легавченко, раскидайте ориентировку, разыскивается женщина такого-то года, волосы чёрно-рыжие, кожа белая, глаза голубые, одета предположительно в то то и то то, нати, — сами опишити. Выходы из города пусть пасут, и шоп поймали её, на ней терь макряк висит, надо позарез её прищучить.

* * *

После того, как ушла сестра, Лекси, почувствовав усталость от нервного истощения, снова прилегла на кровать и не заметила, как уснула. Она засыпала и просыпалась снова. Томительно и тревожно тянулись часы в отсутствие Клейст. Дважды Лекси, почувствовав голод, находила холодильник в пустой тьме маленькой кухни и что-то вынимала из его морозящей освещённости. На третьи сутки раздался телефонный звонок.

— Лекси, милая, как ты? — раздался в трубке бархатный голос.

— Ты где была, я волновалась!

— Я не могла прийти, всё изменилось, я за тобой прислала такси, оно привезёт тебя в ресторан «Карма», в котором мы были, когда у тебя был приступ.

— Но зачем, я не хочу.

— Всё изменилось, тебе там больше нельзя оставаться, выходи, водитель уже у входа. Когда будешь идти по коридору, закрой глаза. Не смотри в зеркало.

Дверь клацнула электронным замком и выпустила в подъездный смрад девушку, одетую в короткую куцую курточку.

Через полчаса хрупкая фигура вошла под высокую арку. С момента последнего посещения сёстрами этого заведения всё изменилось. Лекси всё показалось жутким и чужим. А ещё отвратительным. Медные звери и всадники мёртво зеленели со стен.

— Лекси! — встала сестра из-за стола.

— Почему ты меня всё время оставляешь одну? — заплакала бедная и так много пережившая девушка.

— Прости, я вынуждена заниматься нашей безопасностью.

— Что это, что это здесь, — обернулась Лекси в сторону сцены. Там тоже всё стало другим, убрали музыкальные инструменты и поставили вертикальные шесты.

На сцене разворачивалось отвратительное действие. Зазвучала музыка, низкая и земная, в ней красным цветом мелькали ноты животной страсти. На сцену вышел чёрный мужчина, облитый маслом. На эбонитовой коже отражался свет ламп. Мужчина был почти наг. Он подпрыгнул и, перевернувшись вниз головой, обхватил шест ногами.

Сестра заворожено стала смотреть на сцену.

— Клейст, что это за уродство здесь, ты куда смотришь!

— Ну а что, мы же не в каменном веке.

— Зачем ты меня позвала сюда, нам везде грозит опасность?

— Лекси, сядь рядом, помнишь, я обещала тебе всё рассказать.

— Я помню.

— Когда-то давно ты была замешана в одной криминальной истории, ты была замужем за человеком по имени Карл Олдридж. Он стал впоследствии государственным преступником. Теперь он сбежал и его разыскивает полиция.

— Почему ты молчала, — спросила потрясённая Лекси.

— Мне врач запретил, у тебя больное сердце, ты могла умереть.

— А сейчас ты почему заговорила?

— Нам нужно уезжать из города, ты девочка, конечно, послушная, но не совсем же безвольная овечка.

Лекси смотрела на сестру, на её крашенные оранжевым веки, на большой чувственный рот. Низкий и красный ветер музыки страстей как будто развеивал её рыжеватые волосы и она казалась Лекси демоном страсти.

«Что это такое»? — думала она, — «как я такое могу чувствовать к собственной сестре». В тот миг ей казалось, что она не её сестра.

Будто вдруг очнувшись, сестра вынула из сумочки телефон и сказала:

— Я скоро вернусь, ты слышишь, сиди здесь, никуда не уходи, никуда не уходи.

Она встала и вышла в фойе.

Лекси закрывала глаза, зажимала уши, она отвернулась от сцены, но всё равно гнусная эта музыка проникала в неё. Её затошнило, у неё снова начался приступ, и она выбежала на улицу, и, ничего не понимая и не помня себя, начала погружаться в зыбкое в дрожащем

воздухе марево дворов. Она уже не слышала, как группа спецназа напала на ресторан, как высыпались витрины в перестрелке, она не видела, как её сестра лежала в подворотне с распоротым животом. Она не чувствовала, как кто-то в её теле нёс её по улицам, перебирая её ногами кирпичи мостовых, потом останавливал такси, называя её голосом адрес, с которого несколько часов назад она уехала в ресторан. Этот кто-то уложил её на кровать, открыв дверь ключом.

Два дня она пробыла в пограничном состоянии. У неё снова была летаргия, но не такая глубокая, она видела сны, где искала свою сестру.

Очнувшись от галлюцинаций, Лекси как сомнамбула встала и на негнущихся ногах пошла в коридор. Там, открыв дверь в подъезд, она стала спускаться вниз.

На улице стояла жаркая ночь и не давала дышать. Лекси прошла два квартала и присела на лавочку отдохнуть. Почти сразу же зажглись огни, сверкая возле её воспалённых от долгого сна глаз, и из открытой двери полицейского джипа на неё выпрыгнуло чёрное тело, крещённое португеей.

— Вы, Фелексия Чарст, задержаны по обвинению в убийстве, так же вам вменяется пособничество экстремизму и укрывательство особо опасных государственных преступников. Вы имеете право хранить молчание. Всё вы скажете, может быть использовано против вас в суде.

Лекси с защёлкнутыми на запястьях наручниками втолкнули в серый полицейский джип.

— Ну чё, попалась, ты кто, Лекси или клекси, а, впрочем, какая нахер разница, доигралась, — загоготал полисмен. Захлопнулась дверь, и джип рванул с места.

Серый автомобиль патрульно — постовой службы, рассекая густой ночной воздух, мчался по улицам. Лекси, распростёртую на заднем сиденье, с двух сторон сжимали амбалы — полицейские, и её дыхание почти прерывалось, задавленное центнерными тушами. На перекрёстке 56 — ой улицы и проспекта Эа, джип притормозил, пропуская колонну скорой помощи. Из-за безволосого черепа правого охранника Лекси смогла за доли секунды увидеть надвигающееся облако зла и осознать непоправимое. Разрывая светом фар ночной плотный воздух, в полицейский джип въехал компактный седан, вскрывая тонкий металл полицейских дверей. Удар пришёлся в пневматический амортизатор, и это спасло Лекси и ещё двоих полицейских. Две фигуры, короткая и длинная, так знакомые Лекси, моментально оказались на улице, словно их и не было в этом автомобиле, смявшем рыхлую обшивку дверей. Нападавшие, вытащив из-под своей одежды короткоствольные автоматы, застрочили по исковерканному автомобилю. Грохот выстрелов проник в уши Лекси и вернул ей сознание. Каким-то внутренним чутьём она поняла, что ей нужно выбираться. Пока раненные и покалеченные в аварии сотрудники вяло отстреливались с нападавшими, она вдруг снова испытала это чувство стыков времени. Будто в замедленной съёмке она видела, как из джипа выпадает начальник патруля, навскидку стреляющий из табельного пистолета. Она видела, как её нога, независимо от её желания поднимается и выбивает дверь джипа. Секунда, и она, не ушами, а, скорее, внутренним слухом воспринимая короткие очереди, бежит по залитой дождём улицы прочь от адского медленного грохота. Перед двойной тактовой чертой как в конце музыкального произведения, раздаётся оглушительный взрыв бензобака. Фермата.

Пробежав несколько кварталов, Лекси обессиленно падает на асфальт. Не очень-то побегаешь со сведёнными за спиной руками.

— Помогите, — кричит она, не понимая, что если ей по-настоящему помочь, то она снова окажется в участке.

Они где-то рядом, она чувствует их, этих двоих.

Потому что вся округа будто встаёт на дыбы как шерсть животного. Заборы, ощериваются гнилыми зубами шпакетника, асфальт становится похож на дощатый эшафот, пропитанный кровью.

— Помогите, — кричит она. Ей бы хоть куда, хоть в подвалы вермахта, хоть в советский застенки, только бы подальше от них, от этих двоих, которые идут за ней по запаху её страха. В её мозгу поселяется ужас, сковывающий всё её существо.

— Что с вами? — говорит бородатый голос. Но разве голос может быть бородатым?

Повернись, посмотри.

Повернусь, посмотрю, точно, борода. Дворник, похоже, какой-то. Дворники — это единственные люди, которые ненавидят новый год. Презренивость. Длинный коридор в коммуналке, мешки с мусором, выставленные за двери, твою меть, Семёновна, где собрание. Чеснок, катаная водка, епть ещё и на работу утром. Да, а вчера старший попал за воровство, посодють етит твою меть семёновна.

— А чяво она в наручниках, может надоть палицаям позвонить, нука Федька давай свою мобилу хренову, повадилса там в игрушки долбить, бобыль, вон какой бабу надо, а он...

...Надо ползти из последних сил, ползти. Да я же в своём дворе, только бы вон до того подвального окна добраться, руки все вывернуло, а этих я сейчас так мазну.

Лекси чувствует в себе невиданную силу, она понимает, что может теперь действовать в этом мире одними мыслями.

Колочая сверхбетонная плита страха накрыла этих двоих. Одного с телефоном, другого одетого как юный гомосексуалист. Как каблук двух муравьёв.

Нормально так, а откуда я так, ах, как больно господи, ну вон скоро дом. Так в подъезд, опять дверь камнем подпёрли, кочуют, наверное, ну сколько раз им говорила, доводчик ломают, мозгов нет. А, да это шпана местная, вон опять пиво пьют, ну что в подъезде-то лето вон на дворе. А. Прохладно, ну здравствуйте, здравствуйте, чего? Почему я в браслетах, да так просто. А Вася, Вася гопник ты голимый, чё подкинулся, сиди, тварь, весь подъезд шелупонью засорил. Чё? Говоришь, давно тебе нравлюсь, а почему именно я? А. Я добрее. Пивной денатурат, порно видео контент, ночная мастурбация, пока бабка спит. Братишка дебил, всю ему пипку расколотил вчера, крыса, вискарь подрезал в «Титане» и в одно жало губит. Братва, смори, какая тёлка, а чё она закоцана, я знал давно, что они мутные каки-то, эти секстрички, а чё босота, может ей эдельвейс устроим, на круг её пустим? Она вон без рук.

Эти все сметаются как висящая в воздухе пыль струёй из пульверизатора. Лифт. Ехать недолго шестой этаж всего. Всё на задницу сажусь сейчас, надо руки из-за спины вытащить, хорошо хоть не пальцевые наручники, там бы не вывела из-за спины, а что они могут, это же не люди, полицаи. Ключ даже не отобрали от квартиры, халтурщики они вот кто. Всё — дверь дома.

Шмак! Ноги подкосились. Ну, короче всё. Надо уходить, куда? Вернее как. Ну, понятно через ванну, горячей воды и мойкой чирк. Так это я ещё вся из подъезда не ушла, не мойкой, а бритвочкой. Интересно в браслетах достану. Как эта феня привязчива, майн готт. Наверное достану. А ещё точно, барбитуры вкинуться. То есть таблеток наесться. (Всё уже почти ушла) Ну ка где аптечка. О, есть, подойдёт. Фенобарбитал, тридцать хватит? Да должно. Кто там в

дверь ломится. Менты уже неверное, менты или эти. Эти, наверное, менты тупые, пока они догадаются, что надо сюда ехать, о полванны набралось, уже хватит, наверное. Всё-таки мерзость этот феник, не лезет в глотку, и всё тут. А там виски в холодильнике. Белый конь. Ой тьфю Вайт хос. Тоже на вкус не очень. Ну всё, лезем в ванную, ой накрывает как уже, где там у меня мойва, а нет, чёрт, все безопаски жилетовские, что, выколупывать что-ли. А нет, вон есть Нева. Если пару букв переставить будет Вена. Как раз в тему. Вена? Помню такого, тупой и лысый, в шапке даже летом... зубы у него все... Ну всё, лезть, А что в одежде что-ли. Нет, блин голая, конечно в одежде, как тебя отсюда будут забирать, кто в морге потом будет одевать то, так зарежут, Марик вон на прошлой неделе мастерски за жарку одну вскрыл, в два взмаха. Разрыв сердечной мышцы. От страха, наверное, что сгорит. Пожар тогда был на Старом острове, полдома сгорело, ну Марик-то ничего. Сразу ему Аббасыч пятак в зачётку вкатил, и вообще выгнал с практики. Мол, молодчага. Ну его, этого Аббасыча. Он тупой абрек курдистанский и в шариат верит. А Кариму я на самом деле любил, жаль, умерла она, завтра снова операции, брат появился...

В дверь-то как стучатся. Ну ничего, вроде ушла... ушла... спи Фарик. Спи, это сон, сон... Ты будешь спать и не увидишь, как ты стоишь с другой стороны двери и стучишься в неё. Это сон...

Дверь нараспашку, заходишь в квартиру и направляешься к ванной.

Там ты видишь себя. Но уже слишком поздно.

Зелёный пиджак, как из прежнего мира

Блестит...

Ш

Теперь я понял, кто это.

Тело, одетое в чёрно — серый камуфляж, прокатившись по склону ущелья Айхри — Мен, рухнуло вниз, и хрястнуло о каменистое дно всем своим презренным весом. Это был мой брат близнец, вернее не он, а самозванец. Неверный, предатель и обманщик, да утащит его шайтан в Ад, и да не будет ему места на этой земле. Почему? Да потому что тому, кто оденет на себя чужую личину — гореть в аду, тому, кто присвоит себе чужое имя — вечные мучения! И да отвернётся от такого на века Всевышний. Как отвернулся от этого человека.

Теперь он лежал на дне ущелья камуфляжным мешком, а рядом со мной стоял тот, кто это сделал, и на его обветренном священной войной лице, пересечённом многими шрамами, сияла улыбка. Это был мой настоящий брат. Но уже слишком поздно. Почему? Потому что всё кончено. Потому что поздно я научился их проверять. Посланцы Иблиса, (да вечно гореть ему в Аду), не выдерживают своего взгляда в зеркалах. Если бы у меня было зеркало, я бы поднёс его и к этому. Брат ли он? А жизнь моя, это жизнь ли? Я уже ни в чём не уверен, мама, прости меня.

Эта история началась так давно, что я не помню, чем она заканчивается, или заканчивается ли вообще. Только волей Всевышнего я остался жив. Самозванец и предатель водил меня за нос много лет подряд, пока не оказался на дне ущелья. Сейчас же есть то, что мы зажаты между горами Парсун — Медэ в северном Курдистане, а по всей пустыне нас караулят враги.

Трудно сказать, что делать дальше, уйдём ли мы живыми из этого капкана, так далеко ещё никто не заходил. Справа скала обрывается вниз, в ущелье, слева чудовищными ступенями громоздятся отроги Айхри — Мен. Дороги нет. Всё кончено.

* * *

Сегодня в мои сны в первый и последний раз пришёл человек, назвавшийся посланником Того, Кого когда-то звали Абуль — Касимом, и запах мирра и цветочной воды, исходящий от его волос, навсегда повис в воздухе моего детства. Мы навеки замерли возле входа в безымянный город, где из ворот раздавались звуки зурны, а дым, смешиваясь с нежным духом лаванды, недвижно висел в воздухе.

— И было так, что к нам приблизился врач, когда мы остановились возле города Амаль — Касар. Человек, назвавший себя аль — Гайдазалин, у шатра Мухамата, (да будут дни его долгими, а голос громок), предложил Ему свои услуги, на что Величайший с блистательностью во взоре смиренно ответил ему, что мы не нуждаемся в лекарях. Врачеватель не поверил, что из такого количества людей никому не нужны его знания.

— Я послужу тебе, я буду лечить твоих преданных, — сказал он.

— Их не от чего лечить, — отвечал Мухамат.

— Как не от чего, все в этом мире болеют, даже твой отец Абдулла ибн Абд аль-Мутталиб умер от болезни.

— Остайся в моей деревне, — отвечал Мухамат, — если найдёшь тех, кто будет нуждаться в твоей помощи, значит я не Наад — Кальма, я не глашатай Верного.

«Уж один-то, да заболит, не сегодня, так завтра», — думал лекарь.

Мухамад позволил ему остаться с нами, чтобы он смог понять Его величие и правду Всемогущего.

Через две недели взбешённый врач собрался уходить, будучи раздосадованным, что к нему так никто и не обратился. На поляне остались его корни и снадобья. Посланник Аллаха милостиво остановил его и сказал:

— Остановись, скажи, почему ты уходишь?

— Я ещё не видел тех людей, которых бы я ненавидел больше чем вас, я клянусь Неугасимым Огнём, я бы убил вас всех, но я дал клятву Небу служить всем живым!

— Усмири реку своего гнева, бурлящую между двумя берегами жадности и похоти, и расскажи мне, что печалит тебя, — сказал Посланник Аллаха.

Своими руками Он передал врачу забытые им мешки. Когда злой взгляд врачевателя упал на лучезарное лицо Мухамада, и злоба растворилась в сиянии Его всепрощающих очаровательных глаз, аль — Гайдазалин упал в ноги Посланника Аллаха, и просил простить его невежество.

— Скажи, о лучший из всех, — говорил он, — почему в твоём селении не нашлось применения моему ремеслу?

— Аллах Всевидящий заповедал верным наполнять свой желудок на одну треть свежей пищей, на вторую треть проточной водой, третью же оставляя для благословения Всемогущего. Умеренность должна быть во всём, заниматься чревоугодием недостойно верного, впадать в похоть недостойно верного, истязать себя умерщвлением плоти, так же не достойно верного, потому что Всевышний не желает видеть перед собой грязного и слабого человека.

— Ээй! Фарид, братишка, что с тобой? — слышу я голос своего брата, — что с тобой, ты в порядке?

Моё я, вернее то, что было им, колышется как вода в пластиковой бутылке, лежащей на боку, если рядом проходит поезд. (Кто-то трогает меня за плечо). Я открываю глаза и вижу Фараза и ещё какого-то человека с длинной чёрной бородой. Они очень плохо выглядят. Пулемётные ленты, перехватывающие их голые торсы, будто вросли в чёрную кожу. Их лица озабочены, в эту минуту эти люди кажутся мне какими-то клоунами, обряженными в эту идиотскую одежду, лишь для того, чтобы над ними смеялись.

— Ахмед, что это с ним, — спрашивает моей брат у человека с чёрной бородой.

Ну и рожа.

— Вай, нэ знаю, похожи на абморок, иле пристп какой. Как припадк. Такая раньше у ниуо был?

— Да, его неплохо в Илттау помяли, ещё и в Манро досталось, — отвечает мой брат, — голову отбили, он тогда ещё месяц в отключке провалялся, думали, приберёт Всевышний, ещё два месяца потом дурочку гнал, что у него есть сестра и умерший ребёнок, но потом вроде бы попустило.

В ушах у меня — вата, их лица словно в тумане.

— Над бы врач звать, — говорит бородатый.

— Да он сам врач.

— А кто он па спицальност?

— Ээй, хирург.

— Вай, да здэс психиат нужин.

— Да где мы его сейчас достанем, — говорит брат. Они оба поворачиваются ко мне спинами и, гремя пулемётными лентами, исчезают в тумане.

Да, это правда. Раньше у меня такого не было. Это началось, когда Фараз исчез. Тогда впервые у меня начались приступы, от которых я терял сознание. Но то, что происходило там, где я был в это время, занимало часы, годы, или даже целые жизни. Реалистичные видения, невообразимые краски, ясные небеса и луна, расколота на две части всадником на крылатом коне.

* * *

Вы знаете Фараза Чулпанбекова? Это мой брат. Сейчас, когда всё прошло, про него рассказывают сказки, в которых он совсем не наделён добродетелями. В этом псевдонародном творчестве он выставлен последним злодеем и уродом, не достойным ходить по этой земле. Но любой нормальный человек знает, что даже народное творчество создаётся по спецзаказам, и за неплохие деньги. Мой брат не вошёл в историю как герой. В лучшем случае — он остался там в качестве повстанца — террориста, плохо закончившего свои тоскливые дни.

Я не помню его появление в своей жизни, хотя другие моменты, типа первого коренного зуба или рассечённой брови, довольно отчётливо проступают в яме моей памяти. Он, казалось, был всегда рядом со мной, но от чего-то я знал, что не всегда, как будто он появился после долгого отъезда в другую страну.

* * *

Мой брат рос тихим и спокойным, но я вспоминаю один случай, когда я проснулся ночью от того, что не мог дышать. Что-то большое и чёрное навалилось на меня, и своим смрадным дыханием опаляло мне лицо. Я в испуге открыл глаза, но кроме вращающихся белков, что сверкали как фары проезжающего автомобиля в темноте, не увидел ничего. Нечто, исторгающее из себя трупный запах, сидело на мне и душило меня. Вдруг в ватной, почти осязаемой тишине, раздался тупой чавкающий звук. Тишина сломалась и, вспухнув в середине, начала сваливаться вниз. Чернота, сидевшая на мне, которая была чернее чем ночь, вдруг обмякла и стекла по кровати. Потoki воздуха хлынули в мои напряжённые лёгкие, это тяжёлое совсем слезло с меня и лежало на полу. Над бесформенной массой возвышался мой брат и бил углом табурета куда-то в край чёрного месива. Прямо между страшных белков, которые уже окрашивались в розовое.

Позже мы узнали, что это был маньяк и убийца детей, которого несколько лет не могли поймать.

На лето родители перевозили нас на дачу в Пуристан, и мы там жили под присмотром нянек, которым до нас, в действительности, не было дела. Две красивые девушки, представительницы прогрессивного поколения, пытались как можно быстрее избавиться от своих обязанностей, чтобы насладиться обществом своих друзей. Они запирали нас на ночь на летней веранде, где дул прохладный ветер Энейской долины, каждую ночь проникая в распахнутые окна, в которых отражались звёзды. На их фоне мне виделся всадник на крылатом коне.

Мой брат, Фараз, после этого случая совсем ушёл в себя. Он перестал общаться со сверстниками, кроме спортзала его всё перестало интересовать. Он часами поводил в тренажёрном зале, яростно молотя кулаками набитые песком груши, и кисти его рук

походили на расплывшиеся от времени картонные цветы. Он постоянно лечил свои руки, перематывал их бинтами, но не переставал колотить ими всё неживое.

Вскоре Всемогущий прогневался на нас, и началась война. Её фантом, нависающий над каждой семьёй, обрёл реальную физическую оболочку, а вместе с тем и возможность действия, когда нам с братом было по десять лет.

К власти в стране пришёл генерал Сетер. Республика почти не сопротивлялась, ей нечего было противопоставить под завязку оснащённой Северной Армии. За годы аморфной жизни, за десятилетия беззлобного существования под управлением КОР (Курдской Объединённой Республики), страна стала рыхлой женщиной, подносящей блюда и напитки на пирах геополитики. Вся нефть, добываемая на территории моей родины, утекала, уплывала в неизвестном направлении. Когда ресурсы иссякли, от неё все отвернулись как от хаиз, грязной и нечестивой, а её агонизирующее тело, побитое камнями предательств, осталось закопанным по пояс в отходы.

Я отчётливо помню эту рыжую бороду, это страшное чёрное лицо, заполнившее почти весь экран старенького телевизора, висящего на металлических держателях на кухне. Сверкая зубами, лицо объявило «свободу от давления мирового правительства». В тот день я не мог отвечать на уроках в школе и даже получил двойку, чего не случалось почти никогда. Самым омерзительным было поведение этого человека и его жуткий тотем. Он везде появлялся с ослом на поводке. Говорили, что да же он живёт с ним как с братом и ест из одной посуды.

Станным было то, что никто не помнил 10 страшных недель. Когда со всех сторон были отрезаны все пути снабжения, и страна превратилась в умирающий без кислорода мозг. Родители ели своих детей, за палку колбасы можно было купить автомобиль, а люди, потеряв человеческое лицо, как свиньи сатаны (да гореть ему вечно в аду) разгребали свалки и помойки в поисках хоть чего-то, что можно было переварить.

Вседарующий отвернулся от разрушенных мечетей, от сломанных пополам минаретов, нет, не сюда он посылал своего провозвестника, пророка пророков (да благословит его Аллах и приветствует).

Я вижу подвалы, вывернутые наизнанку здания, голодные глаза, тянувшиеся ко мне костлявые грязные руки. Только волчий взгляд брата мог остановить существ, когда-то гордо называющих себя людьми, и иссушенные голодом руки подрезанными ветвями падали вниз. Еда была только у тех, кто заранее смог предчувствовать. Они окопались в раздробленных домах и свинцом, вылетающим из закопчённых стволов, отстаивали своё право на жизнь.

В конце осени слуги чёрного шайтана Сетера начали охоту на «Тех, Кто Помнил». Районное отделение полиции превратилось в сортировку. Любой, кто хоть что-то помнил об этих днях, бесследно исчезал.

— Папа, а почему нам нечего было кушать? — спросил я однажды отца, видя отражение своего лица в его глазах, моментально наполняющихся ужасом.

На следующий день почти за бесценок было продано всё наше имущество. Реликвий и драгоценностей древнего рода халифа Чулпана (мир ему) едва хватило, чтобы занять нелегальные места на корабле, отходящем по морю в другую страну. В трюме было душно, по железному полу бегали крысы размером с небольшую дворняжку. Многоярусные кровати громоздились вокруг, занимая почти всё пространство трюма. Оборванные, жалкие пародии на людей, которые давно потеряли останки человеческого, ловили крыс и ели их живьём, впрочем, тут же извергая съеденное обратно, и воздухе стоял тяжёлый смрад желудочного

сока.

Два дня море было безмятежно и держало наше угловое судёнышко на своих водах, как держит отец новорождённого сына в тёплых ладонях, мягко покачивая и обещая долгую счастливую жизнь. На третий день, когда ещё красное солнце не вышло из-за горизонта, пришла волна. Стена горькой воды встала над несчастной щепкой, возмнившей себя паломником морских просторов, и, замерев на секунду, обрушилась на палубу тоннами воды. Всё утро стихия, словно возненавидев человеческий род, посмеявшийся вторгнуться в её жизнь, рвала и метала. Этот род, который для неё был сконцентрирован в этом жалком судне, плывущем по бесконечным просторам Энейского моря, она обливала солёным ветром и зелёной водой.

Днём не досчитались брата. Экипаж долго искал маленького одиннадцатилетнего человека среди баков и кают. Казалось, что он, испугавшись шторма, просто спрятался где-то. Но его нигде не было. Отец и мать рыдали от горя, состарившись за миг, но я знал, что Фараз не умер, что он рядом со мной.

Мы начали новую жизнь в Джалаббаде — Городе Солнца, который стал моей второй родиной. Минареты взлетали в небо, суры летали в дрожащем воздухе, люди здесь ещё не видели оскал войны. Город Солнца Аллаh ещё не презрел и благочестивые дни продолжались.

В Джалаббаде я окончил школу и поступил в медицинский институт.

Вспоминаю одно событие, важность которого я не смог оценить. Когда я вернулся домой и уже знал, что зачислен на первый курс, меня позвал отец и торжественно вручил мне какую-то шкатулку, инкрустированную серебром, в ней лежал маленький кусок металла, формой напоминающий ромб, вырезанный из кровельного алюминия. Сколько я не пытался узнать о назначении этого странного подарка, отец молчал. Я бросил шкатулку в стол и тут же забыл про неё.

В Джалаббаде я очень много читал и пытался понять причины войны, развернувшейся на нашей родине. С детства я очень увлекался историей и знаю про все исламские войны, знаю причины, вижу следствия. Но здесь было что-то другое.

Выходило так, что некий генерал — повстанец, исчадие ада, брат президента северо-восточной республики Эолинор, задался целью покорить если не весь мир, то хотя бы его большую часть. Его армия всего за несколько лет завоевала такое количество стран и республик, что было непонятно, как такое явление вообще может иметь место. Я понял, что он пользовался какими-то неизвестными науке технологиями. Он массово стирал память, и люди, лишённые воспоминаний, начинали счастливую жизнь под его диктатурой.

Наше с братом детство прошло под гнётом курдов, и благословлённая Аллахом родина стонала под непосильными налогами. В Бахастане было всё для процветания. Начиная от нефтяных месторождений и заканчивая прекрасными морскими курортами.

Почти сорок лет Объединённая Курдская Республика качала нефть и газ из священной земли. Люди пытались протестовать. Потомки знатного рода воинов, нашедших пристанище в Бахастане после геноцида, имевшего место два века назад, не могли просто смотреть на это паразитирование. Начались массовые протесты.

В 9* — ом году от голода умерли 85 шахтёров, которым не платили жалованье уже целый год, и они объявили голодовку. Они ничего не знали о том, как правильно переходить на автономное питание, время от времени они пили подслащённую воду, и вместо ацидотического криза наступило истощение организмов, что привело к массовой смерти.

Это событие внесло последнюю каплю, переполнившую океан 40 — летней покорности. По всей республике вспыхнули восстания, жестоко подавляемые властями, началась настоящая гражданская война. Чёрный генерал пришёл с востока и почти без боя взял обескровленный внутренними распрями Бахастан. Голод и страдания, а так же висящая над нами угроза заставила броситься наших родителей в бега.

В тот год, когда брата уже перестали оплакивать, я поступил на факультет хирургии. Не знаю, что мною двигало тогда, может желание помогать ни в чём не повинным людям, подрывавшимся почти ежедневно на тротиле, который продавался из-под полы в любом сигаретном киоске. Как мыло.

Перед моими глазами встаёт одна картина. Весной мы с мамой ждали трамвая на остановке «Храм Огня», повернувшись спиной к скамейкам. Подошёл «десятый» и громыхнул дверьми. Это был не наш. Кто-то начал спускаться с подножек и вскоре дверигармошки закрылись. Я поднял голову и через стекло увидел серые глаза маленькой девочки, которую держала на коленях женщина. В этих глазах, ещё бессмысленных из-за малых лет, вдруг сверкнул на долю секунды непримиримый ужас. В тот же момент трамвай взлетел на воздух. Серая коробка, оторвавшись от рельсов почти на полметра, растеклась столбом огня в сухом воздухе. Горячая волна обдала моё лицо, и мой крик, появившийся раньше моих мыслей, разорвал окрестности. Мне тогда казалось, что он был ничем не тише взрыва. Мама закрыла краем чадры мою голову и потащила меня куда-то в подворотню, поражая меня своей силой, коренившейся в столь слабой на вид женщине. Я даже и не подозревал в ней такой энергии. Она волокла меня по дворам как щенка, и я уже не видел, как спасатели выносили из покорёженного прямоугольника горелое мясо перемешанное со стеклом и тряпками. СВУ было снабжено внешней оболочкой, содержащей стальные треугольники с заточенными краями. Из пассажиров никто не уцелел. Мы с мамой спаслись только благодаря тому, что водитель успел закрыть дверь.

Позднее, вспоминая этот случай, я недоумевал, как эта девочка могла почувствовать взрыв. А может, мне это показалось, и взрыв был раньше, чем я посмотрел ей в глаза.

В институте, после того, как я сдал вступительные экзамены, ко мне подошёл профессор Исам Аббасович, и сказал:

— Ты хоть понимаешь, что ты теперь должен? Ты избрал великое поприще, не всякий достоин его. Абу Али и Гиппократ, лучшие из людей (мир им), отдали свои жизни на благо других.

Я сказал ему тогда, что я просто ненавижу террор и экстремизм, и буду делать всё, чтобы искоренить это зло. Исам Аббасович одобрительно покачал головой. Он был практикующий хирург, проповедник, и гуманист нового века.

В те времена в Курдистане правил 14 — тый джихад, власть не то что бы авторитарная, но и не особенно терпимая к представителям иных конфессий. Хотя даже у зороастрийцев было тогда кресло в меджлисе, а неверные не платили джизья.

— Проходи дорогой, — это моя жена, Илайя, — говорил Исам Аббасович, когда я пришёл к нему в гости. Благообразная женщина учтиво кланялась мне. Из соседней комнаты выбегала маленькая девочка и хитрыми глазками смотрела на нового человека, появившегося в её доме.

— Илайя, принеси нам еду и чай, это мой лучший ученик, — говорил профессор худощавой женщине, закутанной в покрывало. Из-за спины его жены мерцали глазки девочки, которая, уцепившись ручками за синюю ткань, озорно посматривала на мужчин.

— Хадиджа, а ты быстро иди к себе в комнату, — сказал Исам Аббасович девочке и виновато посмотрел на меня.

— Ах, дети, дети, — развёл он руками.

Его серебряная борода отражала солнечный свет.

— ...благодаря Аллаху Всемогущему, прославившему мир и пославшему нам Мухаммада, печать пророков, (да благословит его Аллах и приветствует), я понял, что без Чарьи нам не прожить. Без Чарьи мы бы стали животными, каждый бы делал все, что ему нашептал Иблис (да пусть он катится в Ад)...

— Исам Аббасович, вы же сами на ваших лекциях рассказываете о том, что нужно любить людей, что нужно отдавать им жизнь.

— Одно дело любить людей, а другое — следовать шайтану (гореть ему вечно в Аду).

— Но если человек оступился, поддался на провокации, что теперь его сразу убивать?

— Закон строг, Quran суров.

— Но забрасывать людей камнями. А если они невиновны?

— Если они не виновны? Что значит — если они не виновны? В посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), в оазисе Таиф, где стоял храм сакифитской богини аль — Лат, в посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), тоже бросали камни, но они не долетели до Него, а упали на землю. Вот — истинная невиновность. Любое из этого мира, будь то камни или люди, всегда свидетельствует за истинную невиновность.

Мне не был понятен до конца этот профессор, на своих лекциях он проповедует гуманизм, и одновременно преследует отступников Чарьи. Мои доводы казались ему смешными.

Исам Аббасович был совершенно закоренелый человек.

Я впервые столкнулся со страшным мракобесием обрезания у женщин, когда уединился со своей однокурсницей в подсобке на студенческом празднике. Её глаза горели архаическим страхом зверя, загнанного в угол. Позже она рассказала мне, что её отец сделал это сам тупым кухонным ножом, когда ей было девять лет. Я проникся глубоким презрением к этим поверьям. Это они называют правильным путём! Оскопление детей?

Когда я заговорил на эту тему с Исамом Аббасовичем после лекции в аудитории, он мне сказал:

— Человечество ещё находится на ранней стадии развития. Не суди никого, только самого себя. Только право судить себя дано изначально. Никто не понимает боли. Как не понимают её дети, подвешивающие за шею голубя, из желания узнать, сможет ли он задохнуться. Им кажется, раз у него есть крылья, он может держаться в воздухе вечно.

В прохладном пятиэтажном здании института это был другой человек, чем где-либо ещё.

... Аташ Бехрам, возвращаясь к священному огню. Чтобы собрать высший огонь — Аташ Бехрам требуется шестнадцать источников, включая молнию, а также огонь от ряда Аташ Адаран. В настоящее время в Курдистане действует только один Аташ Бехрам в городе Дезд. Храм в его честь там был основан в 5032 году. При этом в мире существует всего девять Аташ Бехрам, и из них четыре в Мумбае, в Индии).

... Понятие может быть условно переведено как «ангелы». Наиболее значимые язаты в зороастризме: Митра («договор», «дружба»), Аредви Сура Анахита (покровительница вод), Веретрагна (язат победы и героизма)....

— Я вижу, ты историей увлекаешься, — упала тень на страницы — надо мной наклонился Исам Аббасович.

Я сидел на скамье во дворе своего дома и читал какую-то старую книгу, найденную мной в подвале. Она называлась — «Причины падения язычества на территории древнего Курдистана».

— Здравствуйте, Исам Аббасович, присаживайтесь, — привстал я на скамье.

Он зашёл во двор с улицы, где проносились автомобили, и ни кому не было дела до чьих-то судеб. Но он был какой-то всепонимающий, словно знал тайные движения человеческих душ. Он стоял надо мной, и улыбка осеняла его лицо.

— Сиди, сиди, — улыбнулся он, — Ахура Mazda и Ормузд, Фрашо — керети? В юности у меня была даже маленькая Авеста с мелким шрифтом и значок Фарахавар. Тогда это считалось высшей степенью противостояния властям, за это могли повесить. Дети такие экстремисты.

— А что потом произошло?

— А потом Печать Пророков (да благословит его Аллах и приветствует) просветил мне ум.

— Вы знаете, Исам Аббасович, я изучаю многие религии мира, и мне не нравится, что они совсем не добровольны, хотя я отчётливо вижу, что истории похожи, как будто Аллах всё разыгрывает по одной и той же схеме. Посылается некий пророк (мир ему), которому приходят откровения, потом он собирает последователей и путешествует с проповедями. А в конце — эта история, что его все отвергают, но он возвеличивается.

— Фарид, знаешь, в чём разница между многими пророками посланниками Аллаха (мир им), и Мохаммедом (да благословит его Аллах и приветствует)?

— В чём же?

— В том, что Адам (мир ему) был послан к одному народу,

Ноах (мир ему) был послан к одному народу,

Ибраһим (мир ему) был послан к одному народу,

Исмаил (мир ему) был послан к одному народу,

Муса (мир ему) был послан к одному народу,

Юша (мир ему) был послан к одному народу,

Даниэл (мир ему) так же был послан к одному народу,

Иунус (мир ему) был послан к одному народу,

Дауд (мир ему) был послан к одному народу,

Яхве (мир ему) был послан к одному народу,

А посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), превосходил их всех, и он был послан ко всему человечеству.

Я был потрясён и молчал.

Отзвуки голоса, так не похожего на тот, что раздаётся в аудитории, во время лекций, ещё долго оседали в песке соседних дворов. К нам начали сходить люди. Благочестивые мужи топили свою обувь в песке, в их глазах светился интерес.

— Исам Аббасович, вы проповедником работаете?

— Это не работа, дорогой, это веление души.

— А университет?

— Вот это — работа, хотя я тоже это люблю. Я пытаюсь служить Аллаху всеми

способами.

— Вы знаете, я всё понимаю, но объясните мне одну вещь, — почему нужно «обращать» в религию, зачем человек должен отдавать то, что у него есть, то, что ему давали с детства, это же просто внешне, это же не отражает сущность человека религиозного.

— Истина должна быть вручена человеку любыми средствами, если он не может из-за невежества взять её сам, но потом он будет благодарить тебя, поверь, — виновато глядел он на столпившихся людей, как будто просил их простить невежественного юношу, не постигающего истины.

— Но почему надо воевать?

— Ты слишком свободно трактуешь историю, это не война, это проповедь, только на другом уровне. Да, бесспорно, всегда найдутся совершенно безнадёжные люди, которым не суждено понять истину никогда. Такие, как Пируз Нахаванди, который известен как Абу Лулу, бывший священник огнепоклонничества, раб, от рук которого пал Умар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук, светлейший султан, внук Мохаммеда (да благословит его Аллах и приветствует).

— Я не согласен, убийства из-за веры это бред, и я не понимаю, почему нельзя верить в Заратуштру или исповедовать Иудаизм?

Мне было трудно говорить при посторонних, меня не радовала роль юнца, застигнутого врасплох на детском грехе религиозного невежества и пытающегося оправдаться, но ещё худшим грехом для меня было молчание. Книга, которую я читал, лежала на скамейке, как вещественное доказательство моей нерадивости и глупости.

— Я тебе ещё раз объясню, дорогой, на пальцах, — вещал дядя Исам, — если ты поедешь в другую страну, тебя там не примут, если ты зайдёшь в храм северных людей, про тебя подумают: пусть этот чёрный убирается к своему Аллаху, если ты совершишь малое омовение в общественном туалете, про тебя подумают, что ты сошёл с ума, если ты совершишь намаз в публичном месте, про тебя подумают, что ты показушник. Почему? Потому, что их пророки (да будет ими доволен Аллах) были посланы Аллахом только к их народу, а Мохамед (да благословит его Аллах и приветствует), был послан ко всему человечеству!

— Я всё равно не могу понять, зачем убивать, — сказал я, уже не видя в своём упрямстве пользы.

У меня всё поплыло перед глазами, появились какие-то странные образы, я словно плавно передвигался куда-то.

— Ты знаешь мечеть на Старом Острове? — сказал вдруг Исам Аббасович, склонившись к моему уху.

— Да.

— Извини, сейчас мне пора, приезжай туда в эту пятницу на Джума, будем беседовать, дорогой Фарид, и вас, — он посмотрел на женщин и мужчин с горящими глазами, обступивших скамью в моём дворе, — я приглашаю на Джума, в эту пятницу.

Люди, выражая благодарность тихим говором, начали расходиться.

— Так ты придёшь, мой дорогой? — спросил профессор, когда уже почти все разошлись.

— Хорошо, Исам Аббасович.

— Пока мы не в университете, можешь называть меня дядя Исам, ты мне как родственник.

— Хорошо, дядя Исам.

— До встречи, и помни, у тебя завтра отчёт по строению костей таза, бросай-ка ты свою книжку и займись делом!

— Хорошо, дядя Исам.

Я долго наблюдал, как развевались полы плаща этого противоречивого человека, когда он покидал двор.

* * *

Учился я хорошо, на втором курсе мне назначили стипендию, я ездил на форумы и активно участвовал в жизни университета.

Так и тянулась эта моя жизнь пока, наконец, одно событие не нарушило её привычный ход. В конце декабря появился Фараз и дал о себе знать мне и родителям, которые уже не чаяли увидеть своего любимца живым.

Фараз окреп. Он уже ничем не напоминал того 11 — летнего юнца с молочными усами, который исчез с палубы корабля той страшной ночью нашего бегства из Бахастана. Одно осталось неизменным в нём — молодецкая удаль и поистине фантастическое бесстрашие. Все эти несколько лет Фараз пропадал по пограничным странам и понабрался экстремистских замашек, какими его наградили беглые курды и бахастанцы, на лету сбивающие из гранатомёта самолёт. Наверное, в этих скитаниях он и проникся этой идеей, сжигающей его до конца дней. Джихад Толяб был его отцом и матерью. Он мечтал вернуть свободу своей родине, и много позже он вернёт её в самом деле, но лишь на день и ночь, на жалкие сутки нервной свободы, которые потом потонут в реках крови.

Стареющие родители, ничего не знали ни о планах их первенца, ни о его милитаристском настрое. Если бы они узнали, то ужаснулись бы, и их дни были бы значительно сокращены.

* * *

Часами мы с братом сидели на берегу реки, которую шииты называют — Лапра — непрекращающаяся и разговаривали о том, как жили на родине, вспоминая наше детство. Брат рассказывал мне, как теперь всё изменилось, убеждая меня в том, что нам необходимо совершить переворот, и что он уже снискал уважение и поддержку на стороне влиятельных банд, и даже заручился финансовой помощью. Но я был не в состоянии забыть разлетевшиеся в трамвае глаза девочки и гневно кричал ему, что война, во имя чего бы она ни велась, не может стать благом. Вскоре Фараз, поняв, что ему меня не уговорить, оставил свои бесплодные попытки. В один из дней он снова исчез, не сказав никому, куда он отправляется. Наши родители поняли, что живым они уже его не увидят.

Вскоре умер отец, его здоровье было основательно подорвано прежней работой на приисках, и чёрные камни прикрыли одинокую могилу на Каменном кладбище. Я остался с матерью, по-прежнему работая в поликлинике на полставки и оперируя там пациентов. Скоро приходило время выпуска из института, и по правде говоря, нам кое-как удавалось сводить концы с концами. Мать пережила своего мужа Рашида, моего дражайшего отца на полтора года и почти сразу после его смерти слегла от астмы. На излёте продолжительной болезни она ушла в мир иной, оставив меня под пустым, осиротевшим небом в одиночестве.

Её тело забрали для обряда женщины, наглухо завёрнутые в покрывала. Я даже не знал, кто они. Я увидел её только на похоронах, пока шли по каменистой дороге на кладбище.

Не помню, где я ходил, и что делал. Когда я пришёл домой, то увидел в нашей квартире тётю Абдель, она собирала чемодан. Фанерный короб был под завязку набит мамиными

вещами.

Она, увидев меня, вскинула виноватые глаза. «Да ей-то теперь зачем, она — в сердце Верного», — читалось в них, — «а мне — пригодится».

Мир стал серым и молчаливым.

Начались дожди.

* * *

И ветер приходит из далёких лугов и пастбищ, наполненный цветочными ароматами, а человек с длинными волосами, пахнущими мирром, сидит напротив меня и рассказывает мне о далёкой жизни. Лишь один раз мне приснился этот сон, после него не было ничего, но он повторялся каждую ночь. Мы снова сидели с человеком в большом каменном доме, а вечер тонул в звуках зурны и городского шума. Мы снова были в сердце безымянного города, где на базарах торговцы зазывают людей к своим лоткам с заморским вином, а на постаментах в центрах площадей танцуют, разбрасывая похоть, чужестранные белокожие женщины с чёрными дёснами.

— Каждую ночь, когда ко мне являлся Джабриил, и говорил мне на ухо слова, которые когда-то станут путеводной звездой для верных, я был вне тела, — говорил нам Муһамад, — и вы, благодаря откровениям Всемогущего, должны выйти за эти пределы. Каждый человек, оставшись в уединении, может слышать эти откровения, если он чист сердцем, я не человек теперь, Муһамад мёртв, я глашатай Аллаһа.

— Наад Кальма, Султан — уль — Азкар, — это и есть сам Пророк, — говорил мне человек с ясными, как небо глазами.

— Он приходит с одной целью — дарить своим готовым последователям средство возвращения назад в свой Вечный Дом, Вечную Обитель, где Вечный Пир, — говорил мне человек с длинными волосами.

— Ангел Джабриил приходил не к одному пророку, и приносил откровения Аллаһа, никогда мир не оставался и не останется впредь без такого человека, пока Аллаһ с нами. Но Он с нами всегда.

"...И вот сказал Господь твой ангелам: "Я сотворю человека из звучащей глины, облечённой в форму. А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь".

И поклонились ангелы все полностью, кроме Иблиса, он отказался быть с поклонившимися.

Сказал Он: "О Иблис! Что с тобой, что ты не вместе с поклоняющимися?"

Ответил он: "Я не стану кланяться человеку, которого Ты создал из звучащей глины, облечённой в форму".

Сказал Он: Я Сам в нём, за то, что ты не поклонился, я собью тебя, ты будешь низвергнут.

Ответил он: "Господи мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу их тем, что на земле, и собью их всех, они не узнают, что Ты в них.

Сказал Он: "Тогда Я Сам приду за ними".

* * *

— Слушай, да не надо с ними церемониться, Ахмед, давай жваркнем по ним ГПДэшками, потом накроем ПС — 16, и дело с концом. Маячь там этим, которые с микроволновками, поварам, пусть начинают, жарят это мясо.

— Фараз, а что с братом твоим?

— Да опять припадок.

— У него что-то как атака — припадк, может у него как у настоящего байца плохой пищеварений?

— Ещё раз такое слово, и я не посмотрю, что ты мой друг, и мы пайку делили.

— Эээ, не злись.

— Я сказал.

Невероятный грохот перекрыл все звуки.

Впереди обрывалось Антраурское ущелье, внизу шла вражеская колонна, транспортирующая нефть и сжиженный газ в глубоких цистернах. Это был стратегически — важный объект. На пригорках и склонах гор стояли наши танки и БТР — ы, как нахохлившиеся кошки, вцепившись в прогретый камень, и мне человеку не военному, казалось, что они там каким-то чудом держатся и не срываются вниз.

На той стороне взметнулась белая ракета — сигнал к атаке, и, разрезая твёрдый, но разряженный воздух, описала дугу. Прежде чем она исчезла, мир погряз в глухоте, вызванной непрерывным артобстрелом из сорока восьми зенитных орудий. Когда глухота пропала, дно ущелья превратилось в искорёженную железную ванну из ржавого металла, крови и камней. Спасти средства не удалось, а почва ущелья пропиталась нефтью.

Через час я приступил к операциям. Я в своей жизни никогда не видел столько мяса. Развороченные ноги и руки, оторванные и вырванные куски тел.

Ещё в институте, на практике, из нас студентов многие падали в обморок от вида препарированного трупа. Не все могли выдержать запах набрякшей смертельной зеленью человеческой плоти. У нас учились и девушки, хотя, как известно — из девушек хирургов не бывает, но на факультете я помню и таких. Тогда уже в Курдистане дул западный ветер свободы, который вместе со свежестью суждений приносил и мусор чужих обычаев. Это была новая волна женщин. Их называли «эмансипэ», они ходили в мужской одежде, они не прикрывали лиц. Вот они-то и поражали нас своим поведением. Они могли пить колу через трубочку, держа бутылку 0,6 холеной ручкой с наманикюренными ногтями, другой рукой копаясь в распластанном на столе кишечнике.

Вот бы их сюда. Одно дело — труп.

Анестезия была аналоговой — курдский героин. Не всегда чистый. Брату поставляли его прямо с полей, по которым бегали сборщики и бинтами снимали с трескающихся головок «чернявку» — опий сырец. Эту «мазь», выкипяченную из тряпок, потом очищали от примесей в ржавых баках в разрушенных зданиях. Такая походная химия. Ангидрид ценился в этих группировках больше чем само сырьё. Брат менял порошок на оружие. Героин носил в целлофановом мешке абрек по кличке Чухон. Фараз всегда ездил на встречу один, и никто не ждал его обратно. Но всякий раз он возвращался, и в кузове вместо кучи АК — ашек, лежал героин. Его размешивали в медном тазу и варили на костре, а синеватые кристаллы растворялись как куски алюминия, если их сбросить в плавильный бассейн металлургического завода. Ошмётки людей без ног и без рук смеялись и улыбались, когда я им отпиливал кости и вырезал опалённое, чёрное от пороха мясо. Их рвало от героина, но это им тоже нравилось. А меня рвало от сладкого запаха, который бывает только на продовольственном рынке, где за мутным стеклом выставлены красные коровьи мышцы, окровавленное филе овец и лошадей. Но это животные. Люди пахнут хуже. Тем более, если они ещё живы.

Мне никогда не забыть первое впечатление детства. Это когда я впервые столкнулся

своим лицом с костяным черепом Всеотнимающей.

В Гурбан — Байрам дождь висел мельчайшим бисером над городом. С раннего утра даже камень домов начал кричать о Пророке (да благословит Его Аллах и приветствует), рассёкшем луну на две части и оседлавшем крылатого коня. В этот день меня впервые взяли на праздник. Отец, окончив молитву, сложил коврик в шкаф и сказал мне:

— Ну вот, Фарик, теперь ты стал взрослым, собирайся.

Мы вышли на улицу и отправились на площадь. Вокруг ходили радостные люди и приветствовали друг друга. Атмосфера праздника летала в воздухе. На площади было столько народу, сколько я ещё никогда не видел.

Я навсегда запомнил этот день не потому, что он был такой радостный. Тогда я впервые увидел смерть. Я заглянул ей в глаза, плачущие овечьими слезами. Пёстрые одежды и кровь на жертвенном алтаре, чистый воздух и последний крик безвинного животного. С той поры я не могу есть мясо. Мне стало казаться, что в тарелке я найду варёные овечьи глаза, подёрнутые мутью предсмертного ужаса.

После операций я всегда сплю. И вместо неровных краёв человеческой плоти мне снятся цветы и небо. Оно такое голубое, что больно смотреть. Но ничего, ещё не всё кончено.

Каждое утро начинается с крика Абдуллы, он один всё ещё на что-то надеется, — в семь часов он взбирается на какую-нибудь возвышенность для того чтобы кричать, задрав бородатое лицо к небу, и его хриплый голос расходится волнообразно в пространстве, расширяясь подобно кругам на воде, если бросить в неё круглый и ровный камень.

В лагере жестокая дисциплина. Неподчинение приказу — смерть. Употребление наркотика или алкоголя во время привала — смерть, или ещё хуже. Хотя, что может быть хуже неё. Но, может. Одного проштрафившегося бойца брат выгнал из лагеря. Он забрал у него одежду и оружие. Да. Это будет похуже смерти. Боец кричал и умолял пристрелить его. Я знал его. Этого бойца. Его звали Мехмет. Кто-то нашёл у него бриллиант, который он взял в доме одного зажиточного чанши в недавно завоёванной деревне. Он не отдал его в общую кассу, а спрятал у себя в палатке.

— Ты же был в тюрьме? — спрашивал его мой брат, когда Мехмета поставили в круг его бывших однополчан.

— Да, Фараз, ты же знаешь, я десятку тянул на Стратастане.

— Тогда ты знаешь, что там с крысами делают.

— Но Фараз, братан, я же просто забыл, ты знаешь, меня в Харилове контузило.

— Ты ещё и педобол, у нас тут не тюрьма, раздевайся.

— Фараз, умоляю тебя!

— Снимите с него нашу одежду, братва, эта крыса не достойна её носить.

Десятки рук, крючковатыми пальцами, заточенными только под курки, вцепляются в жёлто-белый камуфляж, и треск хлопчатобумажной ткани слышен, кажется, на много километров от лагеря.

— Пошёл, — тычет в голую спину предателя короткий ствол АКМ — а.

Человек, уже не человек, а крыса, прикрывая ладонями гениталии, бежит в сторону леса. На опушке он останавливается, и в его глазах загорается мольба.

— Фараз, во имя Аллаха, сжался, я признаю свой косяк!

— Пошёл, сука, а то щас коленки прострелю, — кричит кто-то, и человек скрывается за кустами.

— Брат, ты что толераст, что ли?

Я поднимаю голову от своей рукописи, на моих руках следы крови, недавно были операции. А кровь, если её много, полностью отмывается только спиртом или бензином, и я в тайне называю себя кровавым графоманом. О чём я пишу? Да уж не об этом, поверьте. Я пишу о настоящих войнах, где ещё было место для доблести и чести, где только сила благородного духа могла дать победу, а не это смертоносное железо, орущее и трясущееся, которое за долю секунды крошит кости, рвёт людей на куски.

Брат зашёл в мою палатку, и увидел на стене такой вымпел, знаете, о братстве всех религий мира.

— Нет, с чего ты так решил, — отвечаю я ему.

— Там вон у тебя висит.

— А ты что, не согласен с тем, что, на самом деле, всё религии едины, и всё суть одно и то же, только трактовано разными людьми, и от этого все разногласия.

— Да мне плевать вообще, я ни во что не верю, — говорит мне брат, и я вижу, что он чем-то озабочен.

— Я пришёл к тебе посоветоваться, — говорит он, присаживаясь на деревянный ящик из-под патронов.

— Я тебя слушаю, — говорю я, и знаю, что ничего хорошего это не предвещает.

— Насчёт нашей следующей операции, — говорит он, и я вижу его глаза перед собой. Под ними хищный нос, как клюв почуявшего добычу орла, а ещё ниже — русая борода. У меня — чуть чернее.

— Мы почти пробились к административному центру, но там блокпосты, КПП, нужен план наступления. Мы должны съездить с тобой в город. По одному очень важному делу.

— Нас же там каждая собака знает, ты же понимаешь.

— Да мы себе лица подправим, к тому же там есть надёжные люди.

— Я не знаю, это же верная смерть.

— Думай, на размышление — сутки, — говорит он и, выходя из палатки, локтём разбивает моё зеркальце, висящее у входа.

Я не помню, когда он стал презирать зеркала. Всё своё детство он давил прыщи и выщипывал молочные усы, чтобы росли быстрее, он не мыслил себя без зеркала, а теперь в лагере подвергается всеобщей насмешке любой, у кого находят хоть маленький обломок.

Однажды брат даже нарядил одного своего бойца в женское платье, когда доверенные люди нашли у него в палатке настоящий набор для бритья. Чемоданчик из пластмассы отняли, а бойца заставили плясать в платье на берегу реки. Пока он танцевал, возле его ног в сырой речной песок вонзались пули с резким визгом. Потом его скинули в реку, и он, путаясь в шелку, исчез в бурных потоках непрекращающейся Лапры. Ему ещё повезло. Половина армии брата — бывшие заключённые.

— Те, кто пестрит свою мулю, недостоин носить оружие в наших рядах, — кричал Абдулла, поверенный Фараза, — этим девочкам одна дорога — в гарем, Аллаһу Акбар!

— Акбар! — вторит бешеная банда, которую мой брат возвышенно называет армией освобождения. Выстрелы дырявят в сухом воздухе тишину.

Мой брат великий стратег, его невозможно поймать, он уходит от врага, растворяясь со своей армией как ночной туман с приходом рассвета. Но его план — это чистое безумие. Вернуться в Джаллабад, когда там кругом враги?

Я знал, что он сумасшедший, но чтобы до такой степени?

На землю сыплются осколки моего зеркала, полог палатки закрывается за спиной Фараза. Я знаю, куда он пошёл.

Сегодня поймали четырёх дезертиров, они сбежали, захватив оружие. Оружие-то пустяк — пару АКМ — ов и две РГД — шки, гранаты так, петарды, по сравнению с тем, чем он закидывает своих идейных врагов. Там даже у него пулемётчики были одноразовые, потому что их руки после часовой такой стрельбы из «нормального шпалера», оказывались сломаны как спички.

Брат поставил дезертиров на колени и прочитал приговор.

Потом отрубил им лопатой головы, руки и ноги. Всё это сняли на видео и выложили в социальную сеть.

* * *

— Ты, наверное, не можешь её забыть? — спрашивает меня брат, участливо заглядывая мне в глаза.

— Ты её убил.

— Нет, я не при чём, это была подстава. Эти двое были какие-то левые, подменили моих людей, убрали их и пришли к тебе под их именами.

Никогда не забыть мне полуразрушенный взрывом дом, под моими руками — человеческое тело, расплывающееся во все стороны, тело, которое я никак не могу собрать.

— Всё равно — ты виноват.

— Да не ной, у меня вопрос: ты дарил ей что-нибудь?

— Я не помню, может и дарил, а какое это имеет значение?

— Вспомни.

— Да, кажется, дарил что-то.

— Что ты дарил?

— Да не помню, шкатулку какую-то, да, точно, помнишь, когда отца не стало, осталась какая-то ерундовина, мне было неудобно, денег не было, а она меня на день рождения позвала.

— Мы должны вернуться в Джаллабад.

— Ты часом не тронулся?

— Другого выхода нет.

Брат уходит, а перед моим внутренним взором, как сквозь какую-то плёнку, память услужливо разворачивает полузабытые картины, периодически обрушивающиеся в беспроглядную муть.

Вот — тело, лежит на животе, ещё дышит, из пробитых лёгких толчками выбрызгивает кровь, вот — мои руки, похожие на мёртвые из-за синеватой резины перчаток, ланцетом они разрезают одежду на спине и отворачивают окровавленные шерстяные волокна. Рядом с левой scapula, чуть выше маленькой родинки — чудовищных размеров рваная рана с вывернутыми краями. Вся спина, ноги и руки в дырах, даже в волосах — кровь.

Тампоны! Бинты! Пульс!

Синеватые пальцы как в страшном сне делают свою работу, быстро окрашиваясь в другой цвет, вот появляется чёрное — Углом! Углом! Пинцет соскальзывает, щёлкает металлом о металл. Какой-то кронштейн из толстого железа на подобие мебельного, на краях — окалина, Тампоны!

СВУ двух нелюдей, двух моральных уродов, способных сотворить такое с ребёнком, почти девочкой, было начинено всякими железками, — болтами и шайбами, детонатор был

приведён в действие не вовремя, из-за случайного звонка по мобильному телефону. В квартире на первом этаже. Карима поднималась по лестнице вверх, а эти двое как раз спускались, их тел не нашли, и это кажется странным.

Мне никогда не забыть эти два лица! Туман, туман, Пульс! Мои руки уже где-то в другом месте, они ла лацканах пиджака моего брата, смяли их вместе с его бородой, кажется, потом я его повалил и таскал его как куль по квартире, хватая за что попало. Я даже не подозревал в себе такой силы. Он бился головой о дверные косяки, о стены, из-за чего лицо его было окровавлено, потом ему удалось сбить меня с ног.

— Брат! — кричит он мне прямо в ухо, голос этот страшен, — я не виноват, позволь мне всё объяснить!!

Из моего рта выходят какие-то слова, но они похожи на хрип или на рыдание.

— Нас подставили, тебя ищут! Это диверсанты! Я просил тебя встретить и устроить моих людей! Моих! Они узнали об этом, они пришли вместо них!

Туман, туман, синие красные пальцы, пальцы, травмы, несовместимые с жизнью? Нет! Какой-то кусок гайки в шейном отделе, atlas раздроблен, medulla spinalis? Туман...

Пульс нитевидный! Разряд! Ещё!

* * *

«... бисмилляхир-рахмаанир-рахиим
Къуль а" узу бираббин-нааас
маликин-нааас
иляяхин-нааас
минн шарри львасвааси ль-хъаннааас
аллязии ювасвису фии съудуурин-нааас
миналь-джиннати ван-нааас.....»

Я безнадёжно опоздал к началу проповеди дяди Исама, но его взгляд просветлел, когда я вошёл в прохладное нутро мечети.

Таким я его ещё не видел никогда, его подбородок был гордо вздёрнут вверх, глаза сияли дерзкой энергией глашатая истины.

«...Есть хадиз в сборнике имама Бухари, история из Сиры посланника Аллаһа(да благословит его Аллах и приветствует). Посланник Аллаһа(да благословит его Аллах и приветствует), стоял на минбаре, давая проповедь.

Аллаһу Акбар!

Аллаһу Акбар!

Аллаһу Акбар!

Когда он давал проповедь, пришёл бедуин и сказал:

— О посланник Аллаха, попроси Аллаһа, чтобы он послал нам дождь, попроси Аллаһа чтобы он послал нам дождь.

И посланник Аллаһа (да благословит его Аллах и приветствует) воздел руки к небесам и сказал:

— О, Аллах, даруй нам дожди.

И пролилось много дождей. Они шли в течение семи дней до следующей пятницы. На следующую Джума, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) так же стоял на минбаре проводил проповедь. И опять пришёл бедуин и сказал:

— О посланник Аллаһа, попроси Аллаһа, чтобы дождь прекратился, наши хозяйства разрушены, а посевы разорены.

И посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) опять воздел руки к небу и дождь прекратился.

Вот это посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), которому весь мир должен следовать, вот это посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), с которого все мусульмане должны брать пример!

Почему?!

Потому что у Байхаки приведён хадиз, о том, что в один из дней посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) был в сафари и встретил бедуинов. Он сказал им:

— Засвидетельствуйте, о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я посланник Аллаха.

Тогда бедуины произнесли:

— Скажи нам, кто в тебя верит, кто может свидетельствовать о том, что ты посланник Аллаха, и что нет никого достойного поклонения кроме Аллаха?

И тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) повернулся к дереву и позвал его, и дерево оторвалось от земли и встало напротив посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и трижды произнесло:

— Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мохаммед посланник Аллаха. Ашхаду ан ля ил`яха `илля Лл`аху уа `ашхаду `анна Мух`аммадан ра`сулю Ллахи.

Вот это посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), которому весь мир должен следовать, вот это посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), с которого все мусульмане должны брать пример...

Я почувствовал состояние лёгкого головокружения, я видел, как вставали люди и уходили, потому что проповедь закончилась. Сквозь какой-то туман мне было видно, как прихожане подходили к имаму Исаму и он разговаривал с ними, потом туман разросся и из него вышел вечный безымянный город, навеки застывший в моих снах.

— Фарид, дорогой! — не годится спать на проповедях.

Я поднял голову и увидел своего преподавателя по хирургии. Он стоял и улыбался. Тело моё всё затекло, я кое-как поднялся на ноги.

— Пойдём в чайхану, я обещал тебе беседу, — сказал он.

На улице туман в моей голове совсем рассеялся, и я увидел обычный город, свой город, с троллейбусами, с городскими парками, с витражами окон.

В чайхане нам подали лао — ча, чай предков, его аромат наполнил помещение.

— Дядя Исам, вот, например, как быть с хирургией, Аллах разве не запрещает вмешиваться в тело человека, — спросил я, делая большой глоток коричнево — серого напитка.

— Смотря, что под этим подразумевать, если это делается во благо человека, для его спасения, если он верующий, то тогда, конечно же, не запрещает. В некоторых странах женщинам разрешается делать даже пластические операции, если хирург — махрам. И, наоборот, если скажем органы отрезать для продажи, то, сам понимаешь.

— Но всё-таки, у нас на дворе не каменный век, женщинам тоже хочется жить полной жизнью, нравиться мужчинам, а не ходить как мумии и только убирать посуду.

— Это всё происки Иблиса (гореть ему вечно в Аду), с этого начинается упадок нрава и деградация, сегодня она без никаба или хиджаба появляется в общественных местах, а завтра станет проституткой.

— Я не оспариваю заповеди пророков, но мне не нравится отношение к женщинам. Напротив меня живёт сосед, тёзка вашего отца по фамилии Осафин.

— Я знаком с ним, он частый посетитель Мекки и правоверный мусульманин.

— У него есть дочь, Карима, я как увижу её в подъезде, она бежит сразу от меня.

— Согласно закону, так должна поступать женщина.

— Но в глазах у неё, понимаете, такая тоска, мне кажется, он её бьёт, такое ощущение, что пошевели она пальцем не в ту сторону, он её с балкона выкинет.

Исам Аббасович промокнул свою седую бороду салфеткой и произнёс:

— В хадисе ат Тимизи сказано:

«Всегда обходитесь со своими женщинами хорошо, ибо они подобны пленницам в ваших руках, и вы не имеете права ни на что иное, разве что сделают они что-нибудь явно непристойное. Если же они допустят нечто подобное, то не разделяйте с ними лежа и бейте их, но не жестоко».

Так же Сира говорит:

«Аллах позволяет вам помещать их в отдельные комнаты и бить их, но не сильно».

— Исам Аббасович, поправьте меня, если я что-то не то говорю, но в «Сират Расул Аллах» сказано именно о жёнах, а эта девочка ещё ничья жена, она пока ещё только дочь.

— Когда-то она станет и женой, у неё должно быть соответствующее воспитание.

— Мне просто жаль того, что такая красота обречена быть всегда скрытой. Ни один художник не напишет с неё портрет, ни один поэт не сложит о ней стихи.

— А ты откуда знаешь о её красоте? А? Мальчик мой? Ты впал в грех?

— Не по моей вине, с неё упал короткий платок, какие носят женщины в более свободных странах. Он зацепился в подъезде за гвоздь.

— Это очень плохо для вас обоих, надеюсь, этого никто не видел?

— Нет.

— Это хорошо, но ты должен молиться и за неё и за себя, виноват только ты, потому что обратил свой взор на неё.

* * *

Сегодня в неподвижный мир моего сна не придёт человек со светлыми глазами. В воздухе вместо мирра и цветочной воды, будет стоять запах ромашки. Жёлтая пыль поднимается от босых ног, но не падает обратно, по дороге бежит девочка, она оборачивается на бегу, её лучезарный взгляд светится.

Карима!

Я бегу за ней и не могу догнать, не оседающая пыль мешает мне рассмотреть её лучше.

Карима!

В синее небо на четырёх верёвках взлетают качели, и я спрыгиваю с них прямо в море. Брызги повисают в воздухе.

Но и в море девочка удаляется от меня, её светлый облик растворяется в белом тумане.

Карима!

На берегу крепости из ракушечника становятся все меньше и меньше, Город Без Имени исчезает в желтизне.

* * *

Вы слышали что-нибудь о СВЧ — оружии? Его создатели называют его гуманным. Говорят, от него не умирают. Может быть. Положите насекомое в микроволновку и включите её хотя бы на несколько секунд. Вот такое оружие. Кожа на людях облезит

лоскутами, при более интенсивном излучении — закипает мозг.

У моего брата были такие установки. Вместе с инфразвуковыми передатчиками он возил эти излучатели прикреплёнными к крышам своих самоходок. Это было очень действенное средство, но был у него побочный эффект — часть волн распространялась назад. Когда, словно дыханием какого-то громадного зверя, тебя обдавало тебя с ног до головы, хотелось убежать, зарыться в песок, хотелось умереть, лишь бы не слышать этого. И это «слышать» не относится к ушам. Скорее к телу.

На этой войне бытовал такой бизнес — останавливали поезда и брали пленных, а потом требовали за них выкуп. Если попадалась шишка покрупней — выкуп был больше.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Я видел недавно один бездарный фильм, где похитители загоняли на рельсы фургон, а машинист, увидев его за несколько метров, останавливал поезд. Это очень неправдоподобно. У поезда, движущегося со скоростью 80 километров в час, тормозной путь составляет не менее километра. Да и потом, кому надо рисковать своим автотранспортом. Поступают проще — разбирают рельсы и собирают тех, кто остался в живых после крушения. Даже, если есть хоть царапина, то товар уже считается не годным.

Мой брат презирал такой бизнес. Людей, которые похищают заложников, говорил он, ещё можно понять, они прикрывают своё очко, но когда это делают из-за денег, то это недостойное для мужчины занятие. Если ты воин, то иди и завоюй, а если так, то ты попросту барыга.

Вы видели когда-нибудь настоящих женщин? Не тех, которые лаской или хитростью добьются, чего хотят. Я имею в виду, тех, которые способны на многое. Я всё время вспоминаю один эпизод, потрясший меня до глубины души. Брат тогда покупал оружие у одного эмира. Брат не уважал его, но эмир был ключевой фигурой на этой войне. Через него шло практически всё оружие, начиная от детских пугачей «Беретта» и заканчивая танками.

Сделка состоялась, но по традиции мы должны были разделить трапезу с союзниками. Тут привели её. Кажется, её звали Анна. Она была то ли репортёром, то ли ещё кем. Их поймали в пустыне, её соратники сопротивлялись до конца, хотя были вооружены одними ГТ — шками. Живой взяли только её.

Я никогда не видел таких глаз. В них горел неугасимый огонь ненависти, боли, презрения к подлому врагу. В растрёпанных волосах, в порванной одежде, она напоминала демона. На красивого и не покорившегося демона.

Когда эмир пригласил её за стол и попросил вкусить с нами пищу, она была похожа на королеву, которой на обед подали коровью лепёшку.

«Я со свиньями не ем», — сказала она, хотя шаталась от голода.

Эмир не мог простить такого оскорбления при нас, и отдал её на растерзание солдатам. Думаю, вряд ли после этого он смог бы её хоть кому-нибудь продать. Если только на органы, да и то, вряд ли.

Много позже нам пришлось ещё раз встретиться с ней.

В манраутском лесу засел очень опытный снайпер. Он постоянно менял место дислокации, и было невозможно его вычислить. Двадцать семь человек от махмутовской дивизии выщелкнуло из этой войны, как патроны 7,62 из рифлёного рожка «Калаша».

В конце концов, наш техник из союзников всё-таки вычислил виртуоза. По всему лесу снайпер закапывал аккумуляторы, генерирующие температуру, сходную с температурой человеческого тела и дистанционно включал и выключал их. Инфракрасники были

обмануты. Чистильщики расстреляли кучу всякой живности, взорвали тонны песка, прежде чем техник понял, как надо действовать.

Когда принесли тело, у меня на миг остановилось сердце. Я узнал её. Это была Анна. У неё была обрита голова, на лице не было ни носа, ни губ, грудь была отрезана лютыми солдатами нелюдя — эмира. Но я узнал её.

Брат распорядился похоронить её с почестями, разрыть ей могилу по всем правилам, с ляхадом, и, когда затих последний выстрел, а последняя лопата земли замерла на безымянной могиле, он выгнал всех и до поздней ночи ходил вокруг, что-то задумчиво напевая.

23 апреля мы спустились в какую-то странную долину. После столкновения с 8 — ой армией генерала Али, нас осталось не больше тридцати человек. Как только мы ступили на тёплую землю, всем словно ваты наложили в уши. Было такое ощущение, что идёшь по спине какого-то огромного кита. От его дыхания вибрировали изнутри грудные клетки жалкой кучки людей, посмевавшихся прийти сюда и нарушить покой исполина.

Вдалеке мы увидели селение. Вернее это было всего несколько домов. Отдав приказ двигаться в направлении жилья, брат отстал позади всех. Он о чём-то напряжённо думал. В селении он надеялся пожить «фуражом», как он выразился. Люди были голодны и еле передвигали ноги.

Когда уже подходили к жилью, и запахло дымом, мы увидели его. Спиной к нам сидел маленький старичок в тубетейке и что-то строгал ножом.

В детстве у нас была такая шутка: если кто-то спрашивал: «а как ты узнал?», отвечалось: «а у меня на спине глаза». Так вот у этого старичка на самом деле были на спине глаза. Не физические, конечно. Он за километр нас увидел. Да что за километр, да что увидел, он, наверное, всегда знал, что мы когда-нибудь сюда придём.

Когда до селения оставалось где-то метров сто пятьдесят, Фараз остановил нас, сказав, что пойдёт один. Мы остались и начали смотреть. Брат подошёл к старику и оказал ему знаки приветствия. Он что-то говорил ему, учтиво кланялся и воздевал руки в небо. Старик не шевелился. В воздухе повисло ощущение угрозы.

Мне издали было видно, как брат изменился в лице, когда старичок что-то сказал ему в ответ.

Фараз нам махнул издали рукой и все мы подошли к жёлтому забору, за которым виднелся дом.

— Эй, братва, — сказал брат, размахивая руками, — этот почтенный чанши пасёт овец, и он разрешил нам взять, сколько сможем подстрелить, но он говорит, что это невозможно, каков мудрец, а! Ну-ка давайте, кто самый меткий, сколько мы уже не ели?

Посыпались беспорядочные выстрелы в сторону пасущейся отары. Когда развеялся дым, все овцы были живы и продолжали щипать травку, как будто над ними только что не туча смертоносного свинца пролетела, а так, стая комаров.

— Эй, Ахмед, — крикнул брат своему близкому, — собирай слоняру и тащи сюда.

Так он называет крупнокалиберную снайперскую винтовку «Elefant».

— Вай, дружищ, ты там патом после слаана чео куцать станещь? Щерсть!

— Неси, говорю.

Через минуту Ахмед принёс «Слона». По сути этот «ствол» больше относился к противотанковым орудиям, чем к винтовкам.

Фараз расставил рогатину, лёг на траву и прицелился. Грянул выстрел, по громкости не

уступающий взрыву небольшой гранаты.

— Шайтан, не может быть! Я никогда не мажу, — выругался брат, когда заглянул в прицел. Снова выстрел, и снова ничего.

Через десять минут стрельбы, с ненавистью выкидывая пустой рожок, разъярённый Фараз кричал на деда, спокойно сидящего на брёвнышке и так же строгоющего палку, как будто происходящее не относилось к нему.

— Да они у тебя, что заговорённые, что ли! Эй, братва, сто грамм рыжего тому, кто подстрелит проклятую овцу!

От гвалта, который покрыл долину, у меня почти заложило уши. Стреляли из чего попало. Всё, что смогли вынести из последнего побоища разбитые наглухо войска, шипело и кричало, выплёвывая смертоносный свинец в сторону зелёных полей. Никакого результата. Горы, в которых паслись овцы, казались нарисованными.

Тогда брат остановил стрельбу и подошёл к деду.

— Ты прости, чанши, видно выскочка я, признаю свою глупость, скажи, как нам решить эту проблему.

Старик не спеша встал с брёвнышка, бросил на землю палку, и, ни слова не говоря, ушёл в дом.

Вернулся он оттуда, неся в руках какое-то диковинное ружьё, изрисованное по цевью древними письменами. Не доходя до нас, старик выстрелил не целясь. Отара сразу хлынула в разные стороны. На земле остался лежать грязно — серый ком.

Дед повернулся к брату.

— Э, малай, а зачем тебе ягнёнк, если ты его унести не сможешь?

— Да уж не беспокойся Абай, унесём, Армаил, Давулетдин, принесите барана!

Двое крепких парней отделились от толпы, одетой в лохмотья, которая всего сутки назад была дисциплинированной штурмовой дивизией в составе четырёхсот оснащённых под завязку прожжённых вояк, и направились в сторону поля. В прицеле их глаз, порезанный крестом, виднелся серый сгусток энергии. Их зубы уже рефлекторно скрипели — они предчувствовали скорый обед.

Минут десять они пытались оторвать от земли этот ком, но выходило плохо. Шерсть обрывалась, оставаясь в их пальцах. Дед тихо улыбался своим мыслям, снова строгоя палку, которую он когда-то успел поднять, оставив ружьё.

На этот раз брат не стал упрямиться. Он повернулся к старичку и сказал:

— Прости Аба мне мою заносчивость, но ты, видно, великий маг и колдун, накорми нас, Аллаһом прошу, за правое дело воюем.

Дед поднялся на ноги и впервые посмотрел прямо на брата.

— Да какой я тебе колдун, ты что, я простой старик. Просто на земле живу, а она ведь живая, земля-то. Веди своих аскетов джихада и воинов шариата в дом, сегодня у меня переночуете. Сам знаешь, что спорить бесполезно, — две ладони скользнули по седой бороде вниз.

С этими словами он встал и пошёл в сторону сереющей на зелёном фоне луга тушки овцы. Я видел, как этот щупленький старичок, ростом с шестиклассника, одной рукой вскинул себе на плечо семидесятикилограммового барана и пошёл в дом.

Этой ночью, перед тем как уснуть, я испытал незнакомое чувство. В полудрёме мне казалось, что этот дом, где мы спим, это поле, дедов огород — это всё какое-то живое, и смиренно держит нас на своих ладонях, защищая от всех бед и страданий. И сразу

нестрашной и безразличной стала война, растворился сонном разуме её кровавый ужас.

* * *

— Аппендикулярный инфильтрат — это конгломерат спаявшихся вокруг червеобразного отростка воспалительно изменённых внутренних органов — сальника, тонкой и слепой кишки. Редко диагностируется на постгоспитальном этапе, иногда только во время операции. Развивается на третий день после начала приступа, иногда как следствие перфорации. Характеризуется наличием плотного опухолевидного образования в правой подвздошной области, умеренно болезненного при пальпации. Перитонеальные симптомы при этом в результате отграничения процесса стихают, живот становится мягким, что позволяет пальпировать инфильтрат. Температура обычно держится на уровне до тридцати восьми градусов Цельсия, отмечается лейкоцитоз, стул задержан. При атипичном расположении отростка инфильтрат может пальпироваться в соответствии с местом расположения отростка, при низком расположении его можно пальпировать через прямую кишку или влагалище. Диагностике помогает ультразвуковое исследование. В сомнительных случаях производится лапароскопия, — говорил Исам Аббасович, положив узловатые кисти рук на столешницу кафедры. Тут впервые на всю ширину открылась дверь в аудиторию, за время лекции профессора несколько раз растворявшаяся на пять сантиметров. В проёме показался бледный как смерть ассистент Жорги.

Профессор вышел в коридор. Обрато он не вернулся. Через тридцать минут в зал пришёл декан факультета и сказал, что Исам Аббасович задержан полицией на время, и мы все должны пойти по домам.

Естественно, никто не пошёл домой. Через час большая толпа студентов, кого мы смогли собрать в институте, стояла возле отделения полиции и устраивала пикет. Западный ветер свободы травил нас, но эта отравка была так сладка. Через час, кто-то начал кричать, и неуправляемая толпа полезла на ворота.

— Они фабрикуют на него дело! — крикнул мне в самое лицо мой друг и товарищ Саид, отличник и активист, открыто выступающий против Чарьи и ведения военных действий на территории Курдистана. Он, вместе со своим соратником Марком, первым полез через забор.

Коротко треснула в воздухе автоматная очередь. Толпа отхлынула назад.

— Вперёд, — крикнул Саид, — не бойтесь!

Снова очередь в воздух.

— Подождите, ничего не устраивайте — крикнул кто-то из-за забора, — разберёмся и выпустим вашего доктора!

Толпа почему-то послушалась. Но внутреннее напряжение росло. Кто-то начал читать суры, петь песни, многие руки сжимали тяжёлые камни, у некоторых студентов, кажется, было огнестрельное оружие.

Через полчаса открылись ворота, и двое полицейских под руки вывели Исама Аббасовича. Он был бледен. Но глаза не потеряли твёрдости.

— Мы не закончили нашу лекцию! — крикнул он.

Толпа студентов закричала как один человек. Профессора схватили и стали качать на руках.

— Дорогие мои, — говорил дядя Исам, — это не Чарья, они прикрывают свои действия законом, а сами творят беззаконье. Сказано: грешник тот, кто грешен, но вдвойне грешен, вводящий в грех.

Я впервые видел, чтобы Исам Аббасович так говорил в институте. Сейчас он был не преподавателем университета, он был имамом мечети на Старом Острове, куда ходил каждую пятницу и проводил Джума.

Вскоре я узнал о причине задержания дяди Исама.

С женского потока исчезли две студентки, позже их доставили в клинику Омейядов в тяжёлом состоянии. Исам Аббасович знал девушек лично, и помогал на вступительных экзаменах. Обе были замужем, и слушали курсы акушерок. Их мужья, понимая, что эти знания необходимы, при наличии в их семьях большого количества родственников женского пола, скрепя сердцем отпускали своих жён на лекции. Они думали, что учёба только развратит женщин.

Но всё оказалось гораздо страшнее. Студентки входили в тайное сообщество «Женщины востока». Принципиально новое движение экстремистского толка провело уже несколько антиобщественных деяний. Женщины публично срывали с себя одежду в местах большого скопления людей, оставляя на лицах платки, и их не могли узнать. В последней акции на беду для студенток в толпе оказался брат мужа одной из них, как махрам он ставил уколы женщине и опознал её по родимому пятну на локте.

Исам Аббасович взял меня с собой в клинику, мы поднялись в приёмный покой и вошли в палату к девушке по имени Лейла. Её подруга к тому времени уже скончалась от побоев и асфиксии.

На кушетке без движения лежал человек. Капельница отмеряла неизвестное бытие, на той стороне проходящее в другой скорости. Вместо лица был сплошной кровоподтёк.

Исам Аббасович стоял возле кровати и держал в кулаке свою серебряную бороду. В его глазах бегали какие-то тени.

Песок поднимался и падал на асфальт. Мельчайшие крупинки его продолжали висеть в воздухе. Как в моих снах. Мы шли по улице Аль — Шамарра, в квартале Скорби.

— А что, разве этим мужчинам ничего не будет? — спросил я, — кроме Чарьи у нас ведь ещё действуют светские законы.

— Это не нам решать, Фарид, мужчины по-своему правы.

— Неужели Вам не жаль людей, — сказал я. У меня было горько во рту от досады, лицо жгло от ханжества и лицемерия, мне было стыдно за всех. Какая-то часть меня ещё была в палате, где в полумраке краснели окровавленные волосы.

Исам Аббасович молчал.

— Простите, дядя, но думал, Вы — гуманист.

Он вдруг резко повернулся ко мне и посмотрел мне в глаза. Мы остановились на улице и встали друг напротив друга.

— Да что ты знаешь о гуманизме, ты, щенок, — зловеще зашептал он, надвигаясь на меня, — сопляк, ты ещё не родился, когда я на Джамаатовском острове для военнопленных ребёнком хлеб носил, рискую получить пулю, когда я после бомбёжек собирал от наших солдат руки и ноги в мешки, чтобы похоронить как правоверных, я вот этими руками, — он поднял к моему лицу две скрюченные кисти, — могилы им копал! Я, тяжело раненый, детей вытаскивал из окружения, грея их своими кишками! Да у меня на этой войне трёх сыновей убило!

Прохожие уже оборачивались на нас.

— Ты, негодяй!! — уже почти кричал он, — начитался умных книжек, ты вдруг решил, что Чарья — это мракобесие, да мы баранами станем, мы потеряем всё на свете, нас можно

будет голыми руками взять!!!

Он резко повернулся от меня и почти бегом бросился по улице.

Я ошеломлённо глядел ему вслед.

Часы тикали, отмеряя время на этой стороне, когда я услышал какие-то звуки в квартире.

— Фарид, сынок, — услышал я слабый голос мамы из прихожей, — к тебе Исам Аббасович.

— Прости, Фарид, не сдержался, — говорил человек, который за последние годы стал мне почти родным.

— Проходите в комнату, имам Исам, я принесу вам чай, — сказала мама и ушла на кухню.

На стене вразнобой тикали часы. В углу на пюпитре лежал Священный Том, раскрытый на суре «Люди».

— Извини, дорогой, я не знал, что у тебя недавно умер отец, соболезную, — сказал Исам Аббасович. На улице я был не прав, ты тоже очень много пережил.

— Ничего, дядя Исам, я не обижаюсь.

— Чем ты сейчас интересуешься?

Он сел на кровать, было видно, что его печалит, то, что он мне сказал.

— Мне интересен тасаввуф. Согласно учению суфиев, Чарья — это одна из первых ступеней ученичества, это жизнь в миру, подготавливающая к тарикату. Это тоже своего рода медитация, отказ от всего внешнего, в пользу внутренней концентрации.

— Очень интересно.

— Вы читали Шамса Тебризского?

— Какие-то выдержки.

— А с поэзией Джалалатдина Руми, конечно же, знакомы?

— Как и каждый образованный человек, я бесспорно, знаком с творчеством Мауланы. Ещё меня с детства поражает история святого Амира Хусро, который умер на могиле своего Мастера, не в силах пережить разлуки с Ним.

— Вот! Они там говорят везде, что нужен учитель, наставник, под руководством которого можно пройти в свой Вечный Дом.

— Ты прав. Учитель, это хорошо, вера в него ещё лучше.

— Всё дело в том, что везде сказано, что одной веры мало, нужна ещё практика.

— Ты дай мне что-нибудь почитать, хоть я и закоренелый, как многие из вас меня называют.

— Конечно, Исам Аббасович, но это не правда, закоренелым вас никто не зовёт.

Мы молчали и пили чай, принесённый мамой.

— Вы знаете, дядя Исам, меня это событие со студентками поразило, а я недавно читал в газете, что в северной стране одна девушка зашла в храм и начала поносить своего пророка, плясала там, что-то кричала.

— Непредставимо.

— Так самое поразительное, что её посадили в тюрьму на два года.

— И всё?

— Нет, там она объявила голодовку и стала национальной героиней. А потом её выпустили. А у нас бы, что с ней было? Да любой правоверный счёл бы за честь оторвать от неё кусок плоти.

— Фарид, — выдохнул дядя Исам, — я сегодня тебе уже говорил, но ты испытывал стресс и не слышал мои слова. Страна, которая не имеет духовного стержня, нравственной основы, обречена. Люди в такой стране не живут, они горят в адском пламени греха, потому что грех — есть слабость духа. Теперь насчёт того, что ты сказал мне, что люди думают, будто я гуманист. Понимаешь, они могут думать всё, что угодно, я от этого не изменюсь. Пусть думают, что я гуманист, пусть думают, что я анархист, пусть думают, что хотят. На мнение людей полагаться нельзя, оно подобно изменчивому лику природы, когда в месяце Сафар её одежды трепещут на ветру, а в Рамадан солнце выжигает камни.

Я поднял взгляд на этого человека, я осматривал его седую бороду, я видел его глаза. Я молчал, потому что не знал, что ему сказать.

— Фарид, через полчаса — начинается Джума, я надеюсь, обида за вспыльчивый нрав твоего дяди растворилась в сердце твоём?

— Да я и не обижался, дядя Исам, конечно идём.

* * *

«... итак, Янья, сын Искандера рассказывает:

Я просиживал вечера напролёт в доме Суфия Анвара Али Джана. Люди приносили ему подарки, которые он обменивал на еду, ту, что подавали перед вечерней медитацией. Он садился в углу, не позволяя никому сидеть рядом с ним, и ел рукой из своей миски. Многие из тех, кто приходил к нему, говорили: "Этот человек надменен и не добр, так как он отделяет себя от своих гостей".

Вечер за вечером я подсаживался всё ближе и ближе, пока не смог разглядеть, что его миска, хотя он и совершал движения рукой, была пуста.

Не в силах сдержать любопытства я спросил его:

— В чём причина твоего странного поступка: зачем притворяться, что ты ешь, когда ты не ешь, и зачем ты позволяешь людям думать, что ты надменен, когда на самом деле ты скромнен и умерен в пище, о лучший из людей?

Он отвечал:

— Коль скоро меня судят по внешним вещам, пусть думают, что мне недостаёт скромности, чем приписывать мне добродетели, которых я не имею. Нет большего греха, чем ставить человеку в заслугу его внешний вид или другие проявления. Поступать так — значит оскорблять внутренние добродетели, воображая, что их нельзя ощутить. Поверхностные люди всегда будут судить по поверхностным вещам: по крайней мере, они не осквернят то, что внутри...»

Я никогда не забуду глаз дяди Исама, во время этой проповеди он ни разу не взглянул в мою сторону, но смотрел на меня каким-то глубинным зрением, как будто сердцем, я знал тогда, что это его душа, и что она чему-то тихо удивляется.

* * *

Той осенью мне улыбнулось счастье. Мимо меня пронеслась смерть, задев меня рукавом своей левой руки. Это прикосновение выхватило клочок волос на моей чёрной голове, навсегда лишив его красящих пигментов. Я видел, как её правая рука, держащая остро отточенный нож, на ходу срезает головы тех, с кем я ещё вчера делил хлеб, кому заглядывал в глаза, людям, которые почему-то оказались с другой стороны. С правой.

В то время мы сидели в крытой тюрьме города Илттау в северном Курдистане. Сонный спрут Илтаусского центра как питательную жижу переваривал человеческие судьбы. В тот

год было больше всего расстрелов, чем в любой другой за последние двадцать лет. Министерские грузовики не успевали опорожнять свои кузова от трупов, почерневших от копоты предсмертного страха в резиновой комнате Исполнений. Нас осудили быстро. В то время тогда ещё не было этих всех мораториев, никому нельзя было написать. Недавно только угасла полемика вокруг событий на нашей родине Бахастан, куда курды по наставлению Сетера ввели свою регулярную армию, после того как мой брат объявил независимость. Десять тысяч неандертальцев с противотанковыми пулемётами ступили на землю моего детства. Они вешали мужчин, продев тросы за нижнюю челюсть и сквозь рёбра, они заставляли матерей есть мясо своих детей, а стариков — быть свидетелями этого бессмысленного жестокосердия. Они были боги, им было дозволено всё. Не знаю, как выжил мой брат в этом кровавом калейдоскопе. Но это ему удалось. Несколько лет он очень осторожно восстанавливал свои старые связи, строил что-то наподобие сети, и только поняв, что находится в относительной безопасности, вышел на меня. Случилось так, что я вызвался ему помочь. Не мог же он по улицам расхаживать. За мной тогда уже перестали наблюдать, и ко мне можно было подойти незамеченным.

В целом тогда в стране уже было спокойнее. Вроде всё утряслось. Я тогда работал в клинике «Джад», что на Старом Острове, и жил без особой цели. Вспоминаю, как от брата пришло первое письмо. Не знаю, обрадовался я или огорчился. Скорее испугался. Я понял, что он пойдёт до конца. До какого конца. Да вот до этого. Который совсем скоро наступил. Его тогда сдал кто-то из своих, и, к тому же «крысы» забрались, и вот мы оказались за решёткой. Илтаусская тюрьма приняла нас в свою перемальвающую утробу. Я никогда ничего подобного не видел. Да будут прокляты вовеки люди, придумавшие такие машины смерти. Камеры до отказа набиты полуголодными психованными оборванцами, которые убьют за пачку чая. Блатарезы, цвиркающие через зубы, опущенные, гигантскими тараканами ползающие под нарами. Коридорный охранник, должность примерно равная техничке в школе — бог и жнец грошовых арестантских жизней. Время, сжатое до предела одной сигареты и наоборот, растянутое до размеров жизни. Тюрьма эта мне тогда показалась предместьем ада на земле.

С нами долго не церемонились. Склепали «терроризм», подвели под «вышку». Я вообще сейчас удивляюсь, что им зачем-то понадобилось ломать эту комедию, справедливый суд и так далее. Иншалла, мне казалось, что нас скоро вывезут под покровом ночи, привяжут на шею камни, и скинут на съедение рыбам, чтобы патроны зря не тратить. Меня жестоко избивали на допросах. Просили им всё рассказать, ну а я рассказал бы, если бы хоть что-то знал. Не расскажешь тут, если бьют так, что потом в камере кроме как лежать на топчане лицом вниз, ничего не хочется. Иногда перестараяются, и утром охранники — вертухаи ногами вперёд выносят очередного «больного — гипертоника» без одного целого ребра и с мозгами, отбитыми до консистенции манной каши.

Суд походил на сборище идиотов. Адвокат разговаривать явно не умел. Раза два он, промышлав, что то вроде: «Возражаю», больше так и не открыл рот. В результате этой клоунады нам «подвели вышак». Дали самое гуманное наказание. Высшая мера соцзащиты.

Вспоминаю, что когда читал где-то об этом, пытался понять людей, берущих на себя роль Всевышнего, и считающих себя компетентными в вопросе жизни и смерти. Кто они? Жалкие ничтожные щепки в океане бытия, жёлтые листья, которых самих через жалкую секунду смоеет потоком Запредельного.

Я думал, что хуже следственной тюрьмы Илтау Иблис ничего не создал, но как я

ошибался! Когда нас перевезли в корпус смертников, мне показалось, что я уже умер, и это Юдекка, последний круг ада. Четыре подвальных коридора, спускающихся под землю и оканчивающихся прорезиненными аппендикитами расстрельных комнат, уводили в последний подземный путь пилигримов криминальной галактики. Страшно ли мне было? Не знаю. Страх, в его привычном понимании здесь не подходил как определение того, что тогда сжигало меня изнутри. Я был как в тумане. Я каждый день ждал, когда ко мне «приедут родственники», по своей воле из камер никто не выходил.

Вот и им и рассказывали сказки. А кто захочет добровольно пойти на верную смерть? Насчёт того, что исполнители были все садисты, и перед окончательным уничтожением сначала простреливали обречённым руки и ноги, не скажу точно. Правда то, что иногда, вместо двух выстрелов, я слышал гораздо больше, но тогда я списывал это на физиологию людей, которые, не смотря на голод, пытки и побои, непостижимым образом умудрялись сохранять поистине фантастическое здоровье.

Это был как раз случай Фараза. Мне иногда удавалось увидеть его в открытую «кормушку» двери, когда его приводили с допросов. Он носил белую рубаху, она у него была красной от крови. Он всегда кричал мне. Поддерживал, говорил, что всё исправится, и нас не застрелят. Но тогда я уже знал, что он просто блефует, и что окровавленная рука смерти уже тянется ко мне сзади. Я затылком чувствовал ледяное дыхание.

Его забрали первым.

Он понял, что пришли его убивать. Он так и не вышел из камеры. Его уговаривали, угрожали, но чего может бояться человек, которому подписан смертный приговор. В него долго стреляли через окно в двери, но ни одна пуля не достала его. В конце концов, в его камеру забросили гранату.

В то утро я твёрдо знал, что настал и мой час. Я не герой, и не шёл с песнями по северному коридору, в конце которого чёрная резина расстрельной комнаты уже начала чернить мне душу. Ужас, пришедший на смену туману, стал моим существом. Я мало что могу припомнить из этого дня. Помню только какие-то ужасающие мелочи. Помню трясущиеся руки молодого палача, его плохо выбритое лицо, у прокурора правая штанина выправилась из сапога и висела мёртвым червём, цепляясь за резиновый пол. Но поразило меня не это, а то, что он был в очках. Как будто это ошибка природы. Как будто прокуроры не бывают в очках. Был ещё врач. Но это был не совсем тот человек, которых мы встречаем в больницах. Он был там для одной цели — констатировать смерть. Поэтому он был скорее антиврач. На нём была маска. Гипсовый слепок с его настоящего лица. Я отчётливо увидел, как он приходит домой и снимает её, бездушную карикатуру на свою внутреннюю сущность, а под ней оказывается вполне человеческое. Врач тянет губы, чтобы поцеловать свою дочку, за то, что она получила пятёрку на уроке живописи, тема была: нарисовать свою семью. Доктор понимает, что все эти секунды, пока его обнимало самое дорогое существо на планете, он держал кончиками пальцев что-то непотребное, пародию на своё лицо, но он боится отпустить выпуклый овал, который он завтра снова оденет, уходя на работу. И ночью, обнимая податливое тело своей жены, он промокает в подушку солёные капли страха, того страха, который заперт в наших сердцах, ему без разницы, заключённый ты или надзиратель.

Меня положили на жирную резину пола, и тут началось необъяснимое. Я вдруг увидел структуру этой резины. На маленьких и бесконечно далёких орбитах, как в уменьшённых копиях солнечных систем, вращались электроны. Затылком я чувствовал холодный одноглазый взгляд, который скоро отправит меня в путешествие по этим мини вселенным, и

я мириадами астероидов буду парить над центрами систем, невидимо притягиваясь к крошечным копиям ядер — солнц, лишённый возможности когда-нибудь упасть на них.

Никогда.

Вечность.

Я почувствовал, что расту. Превращаясь в неорганическую пыль, в дым, я уже высунулся своим телом далеко за пределы каменного креста Джабраила. В раздробленных на камеры коридорах тёмными пятнами висели овальные сгустки человеческой ненависти. Нависая бесформенной массой над всей этой фантазмагорией, я увидел мелькающие в северном коридоре хромированные сапоги, я различал сквозь красные портфели бумагу, сверкающую невоспринимаемо — белым. И тут я услышал Звук. Это не было звуком в обычном смысле, как мы привыкли понимать это слово. Это был долгий голос спускового механизма. Я слышал, как боёк с хрустом разрывает тонкий металл капсуля, как медленно воспламеняется порох и распрямляются какие-то пружины. Но это была лишь внешняя оболочка этого звука, выплывшая на поверхность. Сам он бесконечный как океан, был неосознаваем из-за своей огромности. За неуловимое мгновение он сжался в тугой плотный ком, и из-за этого давления я вывалился в своё тело как горох из чашки в старый мешок.

Приговор отменили. Высшую форму соцзащиты нам заменили пожизненным заключением. Палач был неопытен, его рука дрогнула, и пуля лишь оцарапала мне висок, который к тому времени был уже снежно — серым. Распоряжение об отмене приговора успели принести до второго выстрела.

Но я не могу понять одного. Я своими ушами слышал взрыв гранаты в камере брата, я помню предсмертные крики тех двоих, безжалостных убийц и террористов, воля которых привела меня в Северный коридор Джабраиловского Подземного Креста. Как они впоследствии оказались живы, да ещё и в полной боевой готовности, для меня и по сей день остаётся загадкой. Вскоре я снова встретился с ними. И с братом. Я допускаю мысль, что я тогда просто был не в себе, и от переживаний за свою жизнь потерял рассудок. Вполне возможно, что смерть моего брата от гранаты, заброшенной в его камеру, была галлюцинацией.

Через три дня нас перевезли в дощатом, пропитанном мёртвой кровью кузове труповозки, за сто пятьдесят километров от Джабраила, в Жали — Кадрам. Ирония была в том, что мы были живы. Несмотря на пинки конвоиров, брат пытался заговорить со мной и подбадривал меня. Но мне уже было всё равно. Машина на неровностях дороги подбрасывала моё тело, а я его чувствовал чем-то отдельным от себя.

Мрачный серый каземат, трёхвековое строение, вырубленное прямо в скале, лагерь Манро, как называют его местные, встретил нас холодным утром. Зона для тех, кому дали за. Не знаю, показалась ли она мне тогда чем-то лучшим, чем Джабраиловский крест, вроде бы должна была. Как одинокой душе в посмертии поднявшейся на одну ступень выше дна преисподней.

Здесь была действующая промышленная территория, в огромных цехах дробили камень, готовили какую-то продукцию, из дерева вырезали безделушки, в глубине жилого сектора стояла мечеть, куда ходили люди, до конца дней обречённые жить в каменных мешках Манро.

Брата направили в другой отряд, который попадал в список после десяти, где содержатся убийцы, насильники и прочее отребье человеческого рода. Да и к тому же, он редко вылазил из «трюма» — сырой ямы, подвала в подвале, куда его бросали за

неоднократные нарушения режима. Он присылал мне письма, которые должны были поднять мой дух, он несколько раз приходил в наш барак и разговаривал со мной, о чём-то спрашивал, но я мало что помню из этих разговоров.

Вам случалось видеть человека, который уже умер, но всё равно продолжает жить? Это было моё тогдашнее состояние. Я ходил, работал, я ел, спал и говорил, но уже не видел в этом никакого смысла. Так живёт дервиш, который знает, что Всевышний не оставит его, и даст на этот день кусок хлеба, ночлег и кусок тряпки прикрыть наготу. Такой человек не строит никаких планов и живёт одним днём, одним часом, в ожидании той минуты, когда его заберут в вечный Дом.

Мой брат в тюрьме процветал. Я не мог постичь, как за такой короткий срок он сумел создать себе авторитет среди определённого круга заключённых. Ну, хотя, в общем, всё ясно — он же был бандит. Военный — повстанец. Таких одиночек в тюрьме хоть отбавляй. Им, естественно, не нравится «чёрный ход», но они сильны и уверены в себе. Бывшие боевики, сотрудники силовых структур, они организованы и дисциплинированы, им не хватает только лидера. Сильного, властного, за которым пойдут. Этим лидером и стал мой брат. Отныне в каменных бараках Манро появилось ещё и третье течение. Раньше заключённые делились на муслимов и блатарезов. Первые терпели вторых, вторые поддерживали первых в некоторых бытовых вопросах, которые в тюрьме были важнее многих. Но вскоре в недрах серой арестантской массы зародился ропот. Фараз Чулпанбеков, мой брат и военный, сделал невозможное. Он столкнул лбами два лагеря зеков, до этого мирно живущих бок о бок. Началась настоящая война, под шум финального сражения он со своим отрядом боевиков совершил немыслимый побег из тюрьмы Манро, которая за всё время своего существования не знала подобных случаев. Началось всё с того, что брат устроил массовые беспорядки. Вместе со своими бойцами, он подпилит ножовкой столбы летней кухни, и когда упала крыша, устроил драку. В результате чего его самого и всех зачинщиков, вместо того, чтобы отправить в карцер, приговорили к месячному забою на каменоломнях. Не знаю, было ли ещё кому-нибудь понятно, что это и было то, чего он добивался. Каменоломня была способна за полтора месяца из вполне здорового человека сделать инвалида, харкающего кровью и опухающего на глазах от радиационного излучения. Так сокращался контингент, живущий за ваши налоги. Не бойтесь, большая часть этих средств оседает в карманах чиновников, а сюда лишь доходят жалкие ничтожные гроши, которые не только не способны поддержать людей и полулюдей, голыми руками выкапывающих плутоний и торий из сухой земли, чтобы дать энергию огромным городам Курдистана; этих крох даже не хватило бы для того, чтобы качественно убить самих землекопов, обречённых на вечную разлуку с землями своего детства, где в жаркой ночной мгле в небо взмывают минареты и мечети, где в их комнатах и поныне горит свет, выработанный в недрах циклопа Джамаальской АЭС, куда отвозится топливо. Нет людей, которые бы сами добровольно вызвались на рудник. Аллах всемилостивый, только не это, не такая смерть.

Всё было тщательно спланировано. За несколько месяцев Фараз разработал план. И вот, после инсценированной им драки, когда обрушилась крыша столовой, его группа три дня выносила на рудник самодельное оружие — заточенные арматурины, — страшная вещь в руках человека, умеющего обращаться с такими «железками».

В это время я лежал в лазарете. Давала о себе знать голова, отбитая на допросах. На работе в промзоне я упал в обморок, у меня снова начались припадки.

Лазарет походил на жилище зомби из фантастического фильма ужасов. Нестерпимый

запах разлагающейся плоти, стоны, кровати, застеленные истасканным зековскими телами бельём, если это можно было назвать бельём. Под тряпками — солома. Из дыр лезут колючие ветки кустарников и сухая трава. Это не госпиталь. Мне этого не надо говорить. Но здесь хоть можно было лежать круглые сутки, а в бараках — только от отбоя до подъёма, за неповиновение — карцер, за ослушание — рудник.

Я думаю, брат тогда принял единственно правильное решение — бежать с рудника. Из самой зоны никто не был в состоянии вырваться. Естественный каменный кратер, стены которого и составляли внешнюю ограду лагеря, защёлкивался наглухо высокими воротами, сваренными из 30 — миллиметровых стальных листов. За скалой — контрольно следовая полоса. Внутренний забор, увенчанный мотками проволоки под высоким напряжением, не такой высокий как кратер, но тоже сложен из сланца, скреплённого бетоном. По периметру на видимом расстоянии друг от друга — вышки с солдатами.

Я жестоко страдал галлюцинациями и бессонницей. Я, конечно, не ждал квалифицированного лечения, я знал, что нас привезли сюда умирать. Если бы я располагал какими-нибудь препаратами, я бы смог хоть как-то облегчить свою участь, но у местных «лепил», даже «зелёнки» не выпросишь. Я не верю, что эти люди, так же как и я учились медицине, и торжественно клялись пред Всевышним жить во благо людей.

На третий день пришло письмо от брата. Испуганный очкарик Хардаш из 24 — го барака принёс мне его и сунул под подушку.

Я сделал вид, что ничего не заметил. Лишь ночью я разорвал тонкий сигаретный целлофан и прочёл послание.

Фараз предлагал мне присоединиться к его группе и уйти в побег. Той ночью я не спал. Мне представлялись тучи пуль, разрывающих мою плоть, полчища мутантов — собак, грызущихся мне в горло. Но эти образы пестрели на тёплом фоне домиков моего города. Лучше умереть под пулями, чем жить так.

Я начал думать, как мне попасть на рудник. Получалось, что мне нужно будет преодолеть двойную преграду. Первое — убедить местное начальство, что я полностью здоров, что казалось невероятным, принимая во внимание моё состояние. Второе — я должен был совершить что-то такое, за что меня, избавив от карцера, отправили бы сразу на рудник, переводя в штрафную бригаду брата. Это было на самом деле непросто. Представляю сейчас лицо какого-нибудь Абдула, блатного из четвёртого, которое бы тот скорчил, узнав, что «битый фраер и лепила» Хирург (так меня звали в тюрьме) добровольно снялся с больницы и уехал на яму. Эта «заточка» стала похожа бы на плесневелый плод инжира, если бы он узнал о том, куда я по-настоящему стремлюсь.

Вечером пришёл Джавдет. Красный из придурков, работавший на администрацию. Он был тут вроде медбрата, и в его обязанность входило осматривать больных. Мне стыдно жить в одном мире с такими «коллегами». Никого он не осматривал, относясь к лежащим в лазарете по их положению в уголовной иерархии. Перед блотью лебезил и рассыпался, воруя для них из медчасти спирт и фенобарбитал, у «мужиков» послабее отбирал последнюю «навлочь» — жалкие изношенные тряпки.

Я никогда не бил человека по лицу. Более того, я даже не представлял, как это делается, как-то по-особому сжимается кулак или ещё что. Поэтому я ударил его табуретом. Он с воем убежал по коридору. Вскоре не спеша пришли коридорные и тем же табуретом ударили меня. Я надеюсь, это мне вернул долг этот человек с крысиным лицом и собачьей душой. Я не хотел бы остаться в долгу у морального уроды. Когда я пришёл в себя от сырости,

проникающей во всё моё существо, я понял, что мне не повезло. Я был на «яме». Джавдет слишком мелкая сошка, что бы за него на рудник отправили. В голове моей раздавался тяжёлый звон, как будто там гудел набат, перед глазами летали чёрные феи с длинными глазами. Я попытался подняться с пола и прислониться к стене, и снова провалился в свой внутренний туман. Я не знаю, сколько я пробыл в бессознательном состоянии на этот раз, но на ногах от сырости раздулась кожа. Всё это время мои конечности были погружены в затхлую лужу. Приглядевшись, я увидел несколько комков хлеба, бесформенных и размокших. Мой паёк. Раз, два, три. Полтора суток. Убедившись, что я могу двигаться, не лишаясь сознания, я прополз к двери. Немного погодя я начал что есть силы стучать ногой во внутреннюю решётку. Выход энергии заставил меня отправиться во внутреннее небытие, в котором за последние дни я был чаще, чем в реальности. Я снова очнулся, когда раздался скрип ключа в скважине, и луч света упал на меня. Я поднял правую руку и швырнул в охранника мягкий крахмальный ком, стараясь метить в лицо. Из-за слабости вышло плохо, и размокший мякиш, скользнув по пруту, упал куда-то ему на грудь. Немного чёрной сырой корочки застряло в белом воротничке. Дверь захлопнулась. Теперь точно получится, если совсем мозги не отобьют, и вместо разговоров с братом, я буду иметь беседы с чёрными феями и лягушками в шпиблетах.

Дверь снова открылась и тут я на себе познал всю радость общения с представителями УСИИ города Жали — Кадром.

Ещё два долгих дня я провёл в бараке, балансируя на грани реальности и бреда, всё время чувствуя липкий ужас от мысли, что брат уйдёт без меня. На работу меня не дёргали, думали, что я умру.

Я боялся напрасно. Фараз терпеливо ждал меня каждый день, со смирением льва разбивая кайлом чёрную смертоносную породу, каждый день понемногу убивая своих людей незримой радиацией. Наконец я встал и, стараясь не качаться, вышел в локалку. Сучий бригадир Асадов, сказав мне что-то вроде: «ну теперь на финишную прямую», пошёл докладывать обо мне начальству, а я вернулся в барак и сел в углу на корточки.

Вскоре меня уже выводили конвоиры в составе штрафной бригады Фараза Чулпанбекова. Брат искал мои глаза в толпе и незаметно улыбался.

Побег был назначен на завтра. План был прост и страшен по своей простоте. Исхода было только два — свобода и смерть, причём в нашей ситуации смерть тоже могла послужить свободой от долгой мучительной гибели. В случае неудачи, нам отводилась роль радиоактивного пухнувшего мяса.

Ранним вечером следующего дня случилось неожиданное для администрации. Бунта никто не ждал. Я до сих пор не понимаю, как брату удалось настроить друг против друга мусульман и блатных, и столкнуть их в кровавой потасовке, да ещё и в нужное ему время. Он часами разговаривал с теми и с другими, пробуждая ненависть, растущую где-то глубоко и неотвратимо набирающую страшную инерцию. Он умело контролировал критическую массу, не давая ей взорваться тогда, когда ещё было не время. Он как подрывник — профессионал знал, когда ему взорвать цистерну с ГСМ, он так же знал, что для этого ему потребуется лишь искра. И такая искра была у него, и она сверкнула в свою секунду.

Брат надеялся угнать грузовики, перевозящие руду из карьера. Грузовики приезжали в одно и то же время вечером почти перед концом работы.

Вокруг карьера не было забора или какого-нибудь ограждения. Это строительство посчитали лишними затратами, так как четырёх охранников, закованных в свинцовую броню

химзащиты, вполне хватило бы, что бы расстрелять в такой удобной для этого траншее хоть половину лагеря. Охранники сидели в специальных будках, расставленных по четырём сторонам света, очень напоминающих пивные грибки, только из-под зонтиков торчали крупные дула станковых пулемётов.

И вот этот час настал. Как только подъехали грузовики и встали, развернувшись к шахтам загрузки, транспортёры заработали, поднимая сырьё вверх. Люди брата подошли шахтам и оказались в непосредственной близости к полудремавшим от жары охранникам. И вдруг завывла сирена, это был сигнал чрезвычайного положения.

В 20: 20, Жавдин Малар, поверенный брата, по его приказу вышел на территорию мечети и камнем разбил правый витраж. Он был в спортивном костюме, которые носили блатарезы, и поэтому Одноглазый Хасан, смотрящий по девятой локалке, видя, как под градом ударов падает их человек и исчезает в серой массе муслимов, побежал по баракам с криком: «наших бьют»! За полчаса он собрал невероятную толпу, готовую рвать, убивать и калечить врагов.

По инструкции, в случае беспорядков, двое охранников рудника должны были присоединиться к основному количеству солдат, охраняющих лагерь. Этим и воспользовался мой брат. По его знаку, заключённые сняли двух оставшихся охранников, швырнув в них остро заточенные куски арматуры. Этот единственный бросок был отработан до совершенства, и два человека, которым поручалось это ответственное задание, обязаны были владеть этим оружием в полной мере. К тому же надзиратели были дезориентированы бунтом, поэтому ни один из них не должен был успеть сделать ни выстрела. Всё-таки произошёл сбой в программе, и из под одного зонтика застрочили выстрелы. Южный пулемётчик с арматурой в глазу, открыл огонь. На стрелявшего влезла толпа заключённых, и, губя свои жизни, завалила его мёртвым дёргающимся от выстрелов мясом. Второй так и не поняв, что происходит, застыл навеки под своим зонтиком, с торчащей из-под стекла шлема пикой. Люди брата влезли по косогорам и захватили три грузовика. Остальные успели уехать, заслышав непонятный шум. Водители были все гражданские, и им было что терять. Три грузовика, до отказа набитые людьми, тронулись на железнодорожную станцию.

Я отчётливо помню стойкое ощущение неправдоподобности происходящего, я даже думал, что я всё-то в больнице, и это галлюцинации. Очнулся я от своих мыслей только тогда, когда оказался в пассажирском поезде, стрелой летящем на восток.

Беглые зеки, вооруженные двумя пулемётами, захваченными на руднике, без труда захватили поезд и, взяв в заложники несколько человек, остальных скинули на ходу под откос.

Через час мой брат сидел в вагоне-ресторане и стаканами пил коньяк, пьяно радуясь сказочному спасению. Он говорил мне о том, как он рад, что мы снова вместе, что мы уедем из Курдистана, и там набрав силы, возьмём реванш. Он говорил и говорил, а я не слушал его, я думал, во что я ввязался.

Позже, благодаря средствам массовой информации, я узнал, как был подавлен бунт заключённых в Манро. Подоспевшие на помощь военные расстреляли всех сверху из вертолётов. В ролике говорилось, что у заключённых было оружие, и они планировали захватить город. Даже дети бы не поверили в такую откровенную чушь.

Из четырёх тысяч заключённых в живых осталось пятьсот человек, но надолго ли.

Про наш побег смолчали. Война всё спишет.

* * *

В конце месяца Мухаррам в семье Исама Аббасовича случилось горе. Примерно с год в его доме жил племянник, который приехал к нему откуда-то с севера. Племянника звали Салман. Мы были знакомы с ним. Не знаю, может он был просто другого воспитания, но мне он показался каким-то неуравновешенным, даже почти больным. Он вскакивал из-за стола, если ему что-то не нравилось, грубил своей тётке, и мог часами разговаривать о девушках, об их половых органах, о том, как они спят, едят, ходят в туалет и так далее. Мне его разговоры казались кощунством и цинизмом. Было видно, что он откровенно презирает женщин, и считает их низшими существами, созданными Аллахом, лишь для того, чтобы удовлетворять мужскую похоть.

Я оказался прав насчёт его психического здоровья.

Старый Остров всколыхнула страшная волна. Недавно у одного рабочего пропала маленькая дочь. Три дня её искали по всем районам, спасатели прочёсывали прибрежное дно, и когда, наконец, уже почти утвердилась версия, что её унесло в море, дворник нашёл в мусорной яме маленькое тельце с ножевыми ранениями. Трупик был обезображен до неузнаваемости. На левой ноге не хватало пальцев. Район Старого Острова погрузился в траур. Вместе с тем все, кто считал себя человеком, бросились разыскивать убийцу. Взбешённые мужчины хватали всех приезжих. Всех, кто переселился на Остров из города, тщательно проверяли. Но всё было безнадежно.

Исам Аббасович начал подозревать своего племянника в наркомании. Всё чаще Салман приходил домой с расширенными зрачками, и, ни с кем не разговаривая, ложился спать. Заметив, что Салман лазает на чердак, дядя Исам в его отсутствие сам поднялся туда. Сомнений не было. На полу был расстелен целлофан, на котором сушились маковые головки. Рядом стоял сундук, обитый медными листами. Исам Аббасович сорвал замок и откинул крышку. В свете фонаря он увидел шприцы, бинты и какой-то маленький свёрток, от которого шёл смрадный запах. Дядя начал разворачивать грязную тряпку и, его, прослужившего двадцать лет коронером во внутренней полиции, имеющего учёную степень доктора судебной медицины, и препарировавшего сотни трупов, стошнило на пол от того, что он там увидел. В сером бинте были завёрнуты маленькие пальчики.

Салман, шатаясь от воздействия опиатов, открыл дверь и упал на пол, простреленный картечью. Взошедшее утром солнце осветило тело Салмана, висящее на воротах дома Исама Аббасовича. Сам он в это время собирал сумку, в которую клал одежду, еду и необходимые предметы быта. Тело Салмана провисело на воротах всего час, пока кто-то из жителей Старого Острова не понял в чём дело. Долго ещё разорванный на куски труп Салмана доедали бродячие собаки, пока Исам Аббасович находился под следствием. Мне казалось непостижимым то, что его не только оправдали, но и даже не лишили хирургической практики и права преподавания в институте. Я думаю, это из-за того, что полиции не нужны были проблемы с населением. У каждого мужчины было ружьё, издавна на нашей земле был только один закон, недавно принятая конституция была ещё бессильна и латентна.

Я приехал к дяде Исаму в клинику, куда его положили после суда. Его подводило здоровье. У этого с виду железного человека, было слабое сердце.

— Я не ждал, что ты приедешь, — сказал он мне, когда я переступил порог палаты.

— Я не берусь судить Ваши поступки, я не знаю, как бы я поступил в такой ситуации, — сказал ему я.

— Мне ничего не оставалось, — у меня у самого жена и дочь, они бы нас не пощадили.

— За свои поступки нам придётся отвечать перед Всевышним.

Дядя Исам осунулся, ослаб, он уже больше походил на старика, чем на громогласого проповедника, с минбара возвещающего волю Аллаха.

— Я решил больше не возвращаться к прежней жизни, уволюсь из института, уеду куда-нибудь далеко, куплю домик на берегу моря, наберу у тебя книг, буду заниматься медитацией, — слабым голосом произнёс он, устраивая поудобнее свои высохшие руки на одеяле.

— Я тоже брошу институт, пойду на заработки, у матери астма, доктора говорят, недолго осталось, — сказал я ему в ответ.

Исам Аббасович поднялся на кровати и хрипло сказал:

— Я умру, если ты бросишь университет, ты — дело моей жизни, я передал тебе самого себя, я рассказал тебе всё, что я знаю, пожалуйста, закончи обучение, обещаю тебе, ты должен обещать!

Я видел, как ему тяжело даётся вот так стоять на локтях, и сказал:

— Обещаю.

Он облегчённо откинулся на подушки.

— А теперь, расскажи мне что-нибудь о суфиях, о Мастерах других стран, о медитации, — попросил он.

— Мохаммед(да благословит Его Аллах и приветствует), великий пророк, но Он не конец миров. Аллах всемогущий посылает в наш мир Своих пророков всегда. Никогда не было времени, чтобы мы оставались без такого учителя, и так же никогда не будет времени, когда мы останемся без такого учителя. Иса(мир ему), Муса(мир ему), а так же другие пророки — это все посланники Аллаха, и они были всегда. Они есть Наад — Кальма, Султан — уль — Азкар, Банг — и - Асмани, и даруют людям одно и то же учение — практику, благодаря которой мы можем связаться с ними внутри, и, поднимаясь по лучу, достичь своего Дома. Учитель — это свет, это лампа, которая передаёт энергию Аллаха миру, когда одна лампа перегорает, она заменяется другой. И такой Учитель есть и сейчас, я клянусь, что найду его.

Я повернулся к кровати.

Исам Аббасович спал как ребёнок и улыбался во сне.

* * *

Я, бесспорно, понимал, что у моего брата не всё в порядке с головой, но я не знал, что до такой степени. У него полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Сегодня он пришёл ко мне и сказал, что мы должны с ним отправиться в Джаллабад, чтобы отыскать какую-то тупую шкатулку, с куском долбанного алюминия внутри. Я сто лет назад отдал её девушке, которая давно уже умерла. И я должен идти на верную смерть из-за какого-то хлама, да и можно ли его теперь найти, когда прошло столько лет! Возможно и самого дома-то, в котором доживали свой век наши родители, уже нет, сказал я тогда ему. А он в ответ начал мне нести какую-то чушь, о том, что это была семейная реликвия, и что мы обязаны её вернуть. При том, он не хотел с собой брать никого, кроме меня. Как он собирается пройти блок посты, прорваться в центр города в тихом обществе издёрганного войной бывшего хирурга?

Когда он вошёл в полуразрушенную квартиру в доме, где я устроил жалкое подобие госпиталя, где жил и сам, я с большим трудом его узнал. На пороге стоял приятного вида молодой человек, бритый, в строгом костюме и улыбался.

Он сказал мне, что главная наша цель — это пробраться через блок посты, а там уже

нам сам чёрт не брат, только тебе надо побриться, говорит он мне. Сам, хоть и бритый уже начинает синеть. Я побреюсь только перед тем, как идти. И единственный раз в жизни.

К вечеру некий делец нарисовал нам паспорта, брат принёс мне костюм и опасную бритву. Оставь, говорит себе. В осколке зеркала на меня смотрит бледное измождённое лицо, криво заросшее чахлым волосом. Моё изображение плавает в нём так слабо, что похоже на умершую рыбу. Как он сам-то брился, он же ненавидит зеркала. Наверное, какой-нибудь ассистент скоблил ему подбородок, еле сдерживаясь от желания перерезать горло.

Ну, что ж. Видимо час настал. Потом, когда я уже вспоминаю, как всё прошло, я не верю в то, что мы остались живы.

Через пятьдесят минут мы уже стояли у шлагбаума первого блокпоста перед Джалаббадом. Это был внешний, за ним, километров через пять, начинался бетонный забор, в четырёх местах разрезанный на КПП. Это были низкие будки с постовыми, дорогу перекрывали ворота. Пока солдат перегоняет ваш автомобиль через ворота, вы проходите через будку, где контролёр за маленьким окошечком, забранном решёткой, сваренной из железных прутьев, изучает ваши документы. Я так и не понял, как брат умудрился воткнуть ему пику в горло, когда квадратики этой решётки не больше спичечного коробка. И ещё там было стекло. Но это случилось потом, а сейчас мы подъезжали к блокпосту. Брат посоветовал мне расслабиться. Возле шлагбаума встали. Из-за нагроможденных стеной мешков с песком к нам вышел щуплый паренёк в каске, и, отдав честь, сказал каменным голосом:

— Ваши документы.

Брат сунул ему в окно красные книжечки, наскоро залепленные его штатным художником. Солдат долго рассматривал фотографии и сравнивал их с нашими лицами, поднимая на нас усталые глаза. Моя рука чуть не разорвала кожу сиденья, сжавшись так, что я её потом долго не мог отцепить.

— Цель визита? — спросил бледный юноша, возвращая нам документы.

— На могилу к матери едем, у неё сегодня день рождения, сказал брат с непередаваемым спокойствием.

— Соболезную. Желаю удачи.

Даже не знаю, на что рассчитывал брат, ладно — блокпост, а на КПП наверняка был инфракрасный сканер. И сразу бы обнаружилось, что документы эти поддельные. В паспорта тогда уже вшивались микрочипы, хранящие все данные о владельце.

Когда вдали завиднелось серое строение КПП, брат сказал мне, что если что-то пойдёт не так, чтобы я бежал сразу же в лес.

«Меня одного на них вполне хватит», — прочитал я в его глазах.

Ну и ладно, в лес так в лес.

Два солдата открыли багажник, осмотрели салон и, погрузившись в машину, начали проезжать через ворота.

А откуда я узнаю, когда что-то пойдёт не так, что я должен увидеть или услышать?

Тусклый взгляд контролёра в окошечке опустил вниз, там должен быть сканер, и когда он поднял глаза от стола, они уже были другими. В ту же секунду тонкое жало стилета, пронизав стекло, как будто оно было резиновое, вошло в горло охраннику.

Я открыл дверь ногой и выбежал с другой стороны КПП, спиной чувствуя на себе недоумённые взгляды сидящих за рулём солдат.

Сначала грохнуло, как будто упал шкаф размером с пятиэтажный дом, потом застрочили выстрелы. Через минуту всё стихло. Я задыхаясь сел в траву. Сквозь чахлые

деревца мерцало зарево пожара.

— Ну, молодец, — раздаётся откуда-то сбоку голос Фараза, да так неожиданно, что я вздрагиваю.

— Жаль, что не получилось бесшумно, теперь нас будут искать, а это затрудняет задачу. Но нам плевать, ведь, правда, братишка мой?

— Где ты взял гранаты? — спрашиваю я его, — да и оружия у тебя не было.

— Да нет, это просто сюрприз от моего механика. Мина под бампером. С часами.

— А если бы нас пропустили?

— Я бы отключил.

Десять минут у него уходит на то, чтобы найти новый автомобиль.

Он одной рукой выдёргивает не маленького мужчину из салона остановившегося «Опеля» и на лету втыкает ему пику под ребра. Доля секунды. Человек с чавканьем падает под откос. Наверное, до гланд достало. Для него они все враги.

Через час мы заезжаем в район «Англиканской стены», проплывающий за окном пейзаж режет мне сердце. Перед глазами стоит прошлое.

Ещё через двадцать минут мы у цели. Фараз останавливает «Опель» возле подъезда, в который я так много раз заходил. Времена эти ушли безвозвратно.

— Видишь, всё на месте, — произносит брат.

На уровне второго этажа — возле подъездного окна — такая же кирпичная кладка, как и везде, но, кажется, что именно эти несколько серых кубиков хранят воспоминания о непереносимом видении.

— Похоже, нам туда, — говорит брат, проследив за моим взглядом.

— Я не могу туда пойти.

— Да ладно, ты брось, мы ведь уже у объекта, мы столько прошли.

— Нам ведь нужно будет заходить в её квартиру.

— ВВС (вне всяких сомнений).

— Там, наверное, кто-то другой живёт.

— Придётся ими пожертвовать.

— Ты похож на морального уродца, кто же убивает мирных жителей, они не виноваты.

— А когда они мочили наших, ты думаешь, что я чувствовал. Это тебе без разницы, ты у нас верующий. На всё воля Аллаха. Ну вот, значит, сейчас и на это тоже его воля.

— Ты сказал «его воля» с маленькой буквы, скажи с большой, тогда пойду.

— Хорошо — Его воля.

— Нет, «воля» тоже с большой.

— Воля.

— Чья воля?

— Ну ладно не пудри мне мозги, ты понял, — вдруг вскипает Фараз, — я иду туда один, а через тридцать минут ты приходишь в себя и поднимаешься, и мы ищем шкатулку.

— А если я не поднимусь?

— Тогда я вылезу в окно и буду кричать.

— Понял, иди.

— Номер квартиры.

— 90.

Я снова, как в далёких детских снах, начинаю чувствовать нереальность происходящего. Будь это на самом деле, это было бы безумием. Не может же он вот так просто пойти и

лишить жизни людей, виноватых только в том, что они переехали в какую-то квартиру, в которой кто-то раньше жил, если так, то полмира надо на тот свет отправить. Нереальным это всё мне кажется ещё и потому, что моя реакция на это была неадекватна. Я бы его ударил, закричал бы на него, но так просто не сказал бы номер квартиры.

Я открываю дверь и выхожу на улицу. Хлопок двери, и мои ноги несут меня в прохладную тень подъезда. Когда-то давно я уже шёл здесь. Мои ноги, будто без моего ведома, наступают в старые следы. Я поднимаюсь на третий этаж и вижу в самом конце коридора дверь с табличкой 90. Я подхожу к двери. Сто лет назад я уже видел эту дверь. Её дверь.

— Чего так долго, мы не на футбол пришли, давай заходи уже.

Я чувствую тонкий, едва уловимый запах крови в квартире. Наверное, так пахнет смерть. Кровь живого человека пахнет так, что от неё скручиваются внутренности в тугой ком, от неё голова болит так, что её хочется отрезать. Но мёртвая кровь — это остановившийся и остывающий кошмар.

— Они там, в туалете, я там уже обыскал, там голые стены, потом туда их засунул, чтобы не травмировать твою детскую психику.

Я даже боюсь думать о том, кто это «они», сколько их и в каком возрасте они были.

Как зомби я начинаю искать. Что я ищу? Я не знаю, вроде шкатулку какую-то. Но я сам себе кажусь сказочным монстром, питающимся страхом, и вот я ищу его везде, в шкафу среди белья, между книг на полках, в мешках, кастрюлях, бидонах.

Через час я понимаю, что никакой шкатулки нет. В квартире бедлам. На полу валяется всё, что до этого аккуратно стояло на полках. Брат ножом режет одежду, и пол устилают разноцветные тряпки.

— Как это нет? Ты везде посмотрел?

Везде ли я посмотрел? Я бы-то уж нашёл, будь оно здесь.

— У неё есть родственники, кому могли достаться её вещи?

Голос глухой как во сне.

Есть ли у неё родственники. Да, наверное, у неё есть родственники. Может есть. Может нет. Скажи я ему что-нибудь, и он пойдёт их всех сейчас резать.

— Мы исчерпали свой лимит времени, надо уходить. Но нам придётся сюда вернуться, — говорит брат.

Я вижу, как у Фараза шевелятся уши, словно у дикого зверя, за которым началась охота. Ноздри хищно раздуваются. Он чувствует погоню.

Мы выбегаем с ним на улицу и садимся в «Опель». Брат резко даёт по газам, и рухлядь несётся по улице, грозя развалиться от скорости. Мой слух улавливает где-то далеко вой сирен.

— Где тут ближайшая стена?

— Какая стена?

— Ну, стена. Не полезем же мы через КП!

— Не знаю.

— Так ты же жил здесь.

— Тогда ещё никаких стен не было.

— Я и забыл, я думал, что всегда эта шайка политиков пыталась из свободных людей зеков сделать. За забор не могут посадить, так вокруг забор построят.

— Туда поворачивай, вон в тот лесок, — говорю я. Мне не по себе из-за того, что он ещё

может тут устроить.

Это скорее не лесок, а непроходимые кусты, ветви настолько переплелись между собой, что без сабли не пройти. Брат на полной скорости рвёт серым телом «Опеля» кустарник и останавливает автомобиль возле стены.

Погоня приближается. Визжание сирен раздаётся всё ближе.

— Вылезь, посиди немного, я тут кое-что посмотрю.

Я хлопаю дверью и выхожу в кусты, они ещё вдобавок ко всему колючие, и рвут дорожную ткань костюма. С водительского места выходит брат, и, тоже попадая в колючки, чертыхается, что испортил новый костюм.

— Лезем на крышу, — говорит он.

С крыши авто брат кидает верёвку на забор, и её конец остаётся там, зацепившись за колючую проволоку. Фараз ловко взбирается наверх стены. Проволока натягивается, но не рвётся. Наверху он перекусывает три ряда колючки пассатижами и скидывает обрывки на ту сторону.

— Я сейчас спрыгну, конец с собой заберу, тебе тут тоже останется, намотаешь на руку и крикнешь мне, я тебя вытащу.

Он прыгает вниз на ту сторону, а я беру верёвку, и мои туфли упираются в белую стену. Я едва успеваю перебирать ногами. Ощущение такое, что прицепился к отъезжающему трактору.

— Прыгай.

Шайтан, высоко, где-то как с третьего этажа. Сирены почти рядом. Наверное, меня видно. Я прыгаю вниз, и не устояв на ногах, прокатываюсь по земле.

— Ну, чистый спецназ, а теперь надо пробежаться, наши друзья совсем рядом, сможешь? Давай вон до того леса, минут за пять надо.

Я поворачиваюсь и бегу изо всех сил, где то далеко я слышу взрыв, но не до конца понимаю, что бы это могло значить. Я бегу и не вижу, как за спиной изменяется панорама, город, обнесённый стеной, как будто оседает и уменьшается.

Когда я уже выбиваюсь из сил, и мои лёгкие похожи на раскалённый металл, спасительная зелень скрывает нас в своих тенях.

— Что там был за взрыв? — спрашиваю я, лёжа в колючем кустарнике.

— Граната. Подарок нашего техника. Помнишь, он классный парень!

* * *

Когда умерла моя мать, весь мир потерял для меня краски, он стал чёрно-серым, только кровь на инструментах была бурой, и халаты слабо зеленели в свете кварца.

Я хотел уволиться. Я перестал ходить на работу. На звонки не отвечал, на улицу практически не выходил. Серая, как сам мир депрессия, стала моей тенью, и постоянным, но безмолвным собеседником опустошёнными вечерами.

«Почему незачем жить», — говорю я куда-то в сгусток тишины, в самый его центр, а представляю, что на чёрной стене есть что-то ещё чернее. «Это» зыбко вибрирует, считает пузырьки в стакане, умножая их на количество моих седых волос, но упорно молчит. Плохой из неё собеседник. Но другого нет.

Вчера вечером раздался стук в дверь. Я посмотрел в глазок и увидел старика Аббасовича. Он глядел усталыми глазами на дверь, а оптика глазка вытягивала его лицо. Я открыл только потому, что мне было невыносимо смотреть на его искажённую физиономию. В глазке он походил на суслика.

В коридоре он снял плащ и прошёл в гостиную.

— Исам Аббасович, дядя, — сказал я ему, — я понимаю, зачем Вы пришли, Вы зря тратите время, тогда в институте, а потом в больнице, я дал Вам клятву, потому что не знал, что я слишком мал, и что невозможно искоренить это зло.

— Ты всё неправильно понял, — покачал он головой, — два дня назад у меня умерла дочь, моя Хадиджа, а я не знаю к кому пойти, везде одно и то же. Везде лицемерие и ложь. У тебя найдётся стакан воды?

Я налил ему чая, и он выпил его залпом.

Мы до поздней ночи сидели и молчали. Тень, которая была чернее, чем самая чёрная стена, чуть посветлела, и её больше не было.

Мне кажется, что я забыл, и что старик всё же говорил о чём-то.

Кажется, он спросил:

— Так, значит всё бессмысленно, и душа должна искать Учителя?

— Да, — сказал я.

— А если она заостенела и захлебнулась в крови?

— Душа не может заостенеть, — отвечал я, — это неизменное постоянство, она всегда стремится к Истине, прорываясь сквозь тучи лжи.

Когда старик уходил, он нервно схватил меня за плечи, как будто у него отбирали самое дорогое, что может быть у человека в жизни. Я заглянул в его глаза, в них стояло необъяснимое выражение чего-то неотвратимого, ужасного и прекрасного одновременно, странная смесь мужества и малодушия, скорби и победы.

Он, словно нехотя, отпустил меня и сказал:

— Прощай Фарид, ты был мне как сын, — и повернулся в проёме двери.

Я закрыл за ним дверь, прошёл вглубь комнаты, и только тут понял, что случилось что-то непоправимое. Я бросился в подъезд, выбежал на улицу, но там никого не было.

Той ночью длинноволосый путник из неподвижного мира в последний раз приходил в мои сны. Рыночными площадями и базарами желтел Город Без Имени.

— Мухамад, великий из великих, говорил, что Истина превыше всего, но добавлял, что ещё выше истинная жизнь, — шептал молодой человек и смотрел на меня.

— Побеждать других — доблесть звериная, побеждать себя — доблесть человека, — шипел ветер в его волосах. Когда душа набирает силу, она, прежде всего, берёт ответственность за себя, она благоухает словно лилия посреди грязи, она ведёт себя как цветок, который дарит свой аромат независимо от того, ухаживают за ним и поливают, или срезали и бросили в вазу, тем самым погубив навеки.

В проём, выдолбленный в стене, нам была видна арена, на которой плясала та, от кого предостерегал Посланник Аллаха (да благословит Его Аллах и приветствует), и сверкала ослепительными зубами, они казались такими из-за покрашенных сажей губ.

— Мы должны уйти отсюда, — говорил путник, — сюда сейчас придут люди, они не должны нас тут найти.

За воротами — огромные статуи бедуинов, верблюды из жёлтого ракушечника навеки застыли, пересекая пустыню жизни.

— До свиданья, мой брат, — молвил путник, — мы расстаёмся, чтобы встретиться вновь.

В воздухе появились белые хлопья — я хотел, чтобы шёл снег и, не тая, лежал на волосах путника. Глухие звуки почти без остатка растворились в белизне, из-за снежной

занавеси вышел чёрный скакун неопишуемой красоты. Вся земля была белой и сверкала подобно алмазам.

— До свиданья, брат, — я никогда не прощаюсь, — сказал путник и махнул плащом, садясь в седло. Долго перед моими глазами сверкали белые монеты, вылетающие из-под копыт. Скакун чёрной стрелой пронизывал белый воздух, и длинные волосы развевались на ветру, а где-то в других коридорах моего сна, я видел в небе крылья, а луна расколосась надвое.

Прощай, брат, до свидания.

Этим утром на Старом Острове начались дожди. Я шёл к дяде Исаму, а в моём сердце стояла печаль, ощущение беды висело в воздухе.

У ограды его дома я увидел автомобили, ворота были открыты, и из них выходили полицейские и выносили коробки. Во дворе я увидел маленькую женщину, сидящую на земле.

Когда я вошёл, она бросилась ко мне с криком:

— Фарид, скажи им, скажи им, что это ошибка!!!

С ужасом я узнал в этой женщине тётю Илайю. За несколько дней она постарела на много лет, из-под хиджаба выбивались седые волосы.

Я удивлённо смотрел на открытые ворота, на плачущую тётю Илайю, я лишился способности понимать происходящее.

Ко мне подошёл полицейский и подозрительно посмотрел на меня.

— Кто ты? — спросил он, нагло глядя мне в глаза. Он был из тех людей, которые считают, что им всё дозволено.

— Это Фарид Чулпанбеков, — ответила за меня тётя Илайя, — он бывший студент Исама.

— Вот и хорошо, свидетелем будет.

— Что случилось? — говорил я, в глубине души презирая весь этот фарс, устроенный главным клоуном в серой униформе, кривляющимся передо мной, который не погнушался вторгнуться в чужой дом и рыться в чужих вещах.

— Ну, террорист твой учитель, — сказал полицейский, — и обвиняется в очень грязных делах.

— Тогда я не буду свидетелем, — сказал я, глядя на мясистое лицо, на потную шею. Меня затошнило.

— Это ещё почему? — удивилось лицо.

— Это какой надо быть сволочью, чтобы свидетельствовать против своего учителя.

— А, ну тогда так проедем с нами, пригодишься.

Меня и тётю Илайю посадили в патрульный автомобиль, и повезли в участок.

Случилось то, что не укладывалось в рамки сознания, всё происходящее казалось мне сном. Ранним утром Исам Аббасович покинул дом и ушёл в неизвестном направлении, а через час приехали полицейские. Они вывели из дома ничего не понимающую тётю Илайю и начали вскрывать полы.

Так открылась страшная правда.

Мой дядя, Исам Аббасович, профессор медицинского университета и проповедник, обвинялся в терроризме и государственной измене.

Он пришёл в полицию с повинной и рассказал, что у него в доме хранятся взрывчатые вещества и наркотические средства в большом объёме.

В следственном изоляторе он начал давать показания. Он рассказал о месте дислокации членов группировки «Рахул», к которой сам принадлежал. Через сутки левые радикалы и террористы почти все были пойманы полицией. Властям открылась вся деятельность группировки. Боевики не гнушались ничем, от расклеивания листовок экстремистского содержания до торговли детьми.

Представителям официальной власти долгое время удавалось удерживать ход следствия в тайне, но информация просочилась в народ. Десятки семей, лишённых своих дочерей, сотни разъярённых отцов, дети которых навсегда исчезли в героиновом мареве, пришли на городскую площадь.

Вы знаете, что такое ненависть? О, энергия, рвущая Джаллаббад в эти дни могла разнести полгорода.

На суд прилетели представители столичной власти, но их вертолёт с трудом оторвался от земли, когда они спасались от народного гнева. На шасси повисли десятки людей, обезумевших от несправедливости. Назавтра закрыли университет имени ибн Синна, отцы тех детей, кто учился в классе профессора Исама аль Хайредж, сжигали дипломы государственного образца, которыми они совсем недавно гордились.

Я не хотел идти на суд, но Марк и Саид, мои единственные друзья убедили меня в том, что это необходимо.

— Мы не должны быть тупыми баранами, — говорил Марик, пряча глаза, в которых стояли слёзы.

— Я никогда не подумаю об этом человеке ничего плохого, это мой учитель, это мой наставник, — вторил ему Саид, который больше других спорил на лекциях с Исамом Аббасовичем, и за спиной называл его мракобесом.

Я не знаю, как нам удалось выйти из зала суда, тогда в давке погибло много людей, но я никогда не забуду то, что открылось моим глазам под сводами здания.

Дядя Исам стоял в клетке, и внешне казался спокойным, но это была лишь его оболочка. Глаза его были выжжены изнутри и опалены предстоящим кошмаром. Но как тогда в мечети, я чувствовал, что он смотрит на меня чем-то помимо глаз, его душа, она была такая же, как всегда. Она была спокойна и непоколебима. Такой может быть только душа.

Когда уже выкрики на Площади Юстиции достигли своего пика и раздались первые выстрелы, трусливое судебное собрание, гордо именующее себя властью, отдало на растерзание обезумевшей толпе Исама Хайредж, чтобы сохранить свои лживые жизни. И нечто, бывшее когда-то человеком, исчезло в сером месиве.

На следующее утро я приехал на Старый Остров и направился в дом Хайредж. То, что открылось моему взору, заставило меня сожалеть, что я имею зрение. Вместо дома громоздились руины, повсюду сочащиеся чёрным дымом. Тётя Илайя сидела на земле, с головой укутавшись в чадру, и раскачивалась из стороны в сторону.

Я остановился, не зная, что мне делать.

Она, почувствовав присутствие постороннего, встала и повернулась ко мне.

— Будь ты проклят! — закричала она, бросаясь на меня. Её хриплые рыдания опалили моё лицо.

— Это ты виноват, это ты с ним сделал!!

Она забежала в полуразрушенный дом и оттуда выбросила мои книги, которые я давал почитать дяде Исаму, что-то про суфизм, про медитацию в Исламе. Я поднял книги и ошеломлённо побрёл прочь.

Я не понимал, и, наверное, уже не пойму, что произошло, почему всё перевернулось с ног на голову. Мир, ещё вчера будучи таким понятным, сегодня превратился в чёрный океан, в котором бурлят неизвестные подводные течения, размалывающие в доли секунды каменные лодки человеческих судеб.

Когда я рассказывал об этом брату, он сказал:

— Да ему башню оторвало от твоих историй, ты пророк, мать твою, политеист хренов, такого чувака сломал, я бы с ним в разведку точно пошёл. Постой, как ты говоришь, они назывались? «Рахулла»? Помню я таких, на границе несколько лет назад пересекались, они там ещё своим связным понтовались, говорили, что надёжнее человека не сыскать во всём Курдистане, наверное, это и был твой доктор.

Мой брат просто недалёкий человек, и всё видение мира у него проходит через призму войны.

* * *

Мы принимали последний бой в Айхри — менском ущелье, когда брат безуспешно пытался поймать двух диверсантов, это были настоящие профи.

Они уже вырезали пол нашего батальона, они легко обходили все ловушки, они играючи обезвреживали новейшую технику будто это — старые радиоприёмники.

Перед этим мы ещё были в Джаллаббаде, там давно убрали блокпосты и демонтировали стену, потому что брата уже никто не боялся, все знали, что он терпит поражение. Фараз узнал, что у Каримы есть родственник, который держит маленький ресторан, и мы с группой людей приехали в Город Солнца.

Как больные люди, как волки, загнанные в угол, залетели люди брата в чайхану «Судьба». Они перестреляли там почти всех посетителей, перебили все зеркала, но так и ничего не нашли. Трёх девушек — танцевальщиц, которые пытались спрятаться в подвале, отдали на растерзание солдатам. Самого хозяина в ресторане не было, и брат снова потерпел неудачу. Он знал, что это был его последний шанс.

После двух часового боя в скалах, всё смялось и полетело к Шайтану (да гореть ему в Аду), нас разбили. Меня, Фараза и ещё одного Махмуда по кличке Волосатый припёрли к стене, у края обрыва.

Вверх улетала гряда скал, внизу был такой провал, что пока падаешь в него, можно увидеть всю свою жизнь.

— Десятый, — орал в поломанную рацию брат, — ты где?

Рация шумела всеми шорохами, какие только есть в природе.

— Веди их сюда, — зловеще шептал Фараз в хромированный прямоугольник.

Вокруг всё ещё вёл бой, но это была уже агония.

Через полчаса из-за скалы вышел десятый отряд. То, что от него осталось. Истерзанные бойцы шли по камням, ведя за собой двух людей со связанными руками и с мешками на головах. Их силуэты показались мне смутно знакомыми.

Их подвели к нам и поставили на колени.

— Ну что, брат, узнал, — говорит мне Фараз.

Я чувствую ужас, сковывающий меня по рукам и ногам.

Фараз сдёргивает с них мешки.

На меня смотрят «доверенные лица», «авторитеты», «реставраторы», беспощадные убийцы.

Первый плотный и маленький озирается по сторонам, как будто впервые видит наш

мир, Второй, понурился головой, смотрит вниз, пряча печальное лицо.

Карима. Это они убили её.

— Да, я, конечно же, их узнал, — сдерживая печаль, замешанную на ненависти, говорю я. Карима. Это они убили её. Это из-за них меня чуть не расстреляли.

Я говорю это спокойным голосом, потому что помню, с чего всё началось, но моя уверенность пошатнулась, и мне стало казаться, что началось это невероятно давно, настолько, что моя память уже не в состоянии вместить это начало. Оно терялось где-то в глубине, как дно ущелья.

— Братишка, — говорит один из них, тот, маленький, с круглой рожей и выкаченными глазами, которые я ненавижу больше всего на свете, — ты посмотри на этого мутилу, он тебе никакой не брат, это же сетеровский прихвостень, тут ради тебя такую комедию сочинили, ты посмотри вокруг, — он показал головой на скалы, — вы же по своим стреляете, это же фарс, я надеюсь, ты ему хоть Вещь не отдал, ты же не тупой... Ты же помнишь, как вы в город ходили, да это всё как в театре разыграно было, чтобы ты привёл их к Вещи. Всё вплоть до побега из зоны — всё это чушь, им же даже своих не жалко, это же не люди...

Его слова оборвали выстрелы. Диверсанты упали как братья в разные стороны симметрично.

— Патлатый, скинь эту тухлятину вниз, — приказал брат бородачу.

— Ни называй мене так! Я тебя сарижю! — вскинул бородач кисти рук вверх, но пошёл к обрыву.

Он приблизился к мёртвым диверсантам и ногой спихнул сначала одного, потом другого, и не успел разогнуться, как получил пулю в спину. Три тела, обгоняя друг друга, помчались в последнюю гонку по вертикали.

— Ты за что, это же свой? — говорю я брату, а ощущение сна разрастается, и я понимаю, что нужно просто проснуться и это всё закончится.

— Да чертило он, продаст за грош, — говорит Фараз, и в глазах у него загорается блеск.

— Теперь мы с тобой, братан, главные, надо только найти шкатулку, брат, где она, — говорит Фараз, и медленно идёт ко мне.

— Я не знаю, ты же видел, мы с тобой ходили вместе, там нет ничего.

— Ну, давай, братан, не упрямясь, ну скажи, — шепчет брат, и тихонько наступает на меня.

Вот его голова уже почти возле моего лица, и я вижу, что он сошёл с ума, — у него нет белков, радужная оболочка наплыла на глазное яблоко.

— Ну, брат, не упрямясь...

Я вижу, как голова лопаётся, словно арбуз на несколько ломтей. Только арбуз внутри красный, а брат лиловый. Тело ватной куклой падает вслед за остальными с обрыва.

— Отойти от него, Фарид, — слышу я твёрдый голос.

Я медленно поворачиваю голову и вижу как сквозь туман моего брата с пистолетом в руке.

Зелёные мухи летают у меня перед глазами, я теряю почву под ногами.

— Фарид отойди от обрыва, Фарид, ты слышишь...

Я падаю, и, лёжа, чувствую, как меня оттаскивают от обрыва дальше, только подбородок мой зацепился за камень и лицо упорно не отворачивается от зияющей пропасти, там, где в потоке пыльного воздуха едва различимы тела двух диверсантов и

одного нашего, который уже ничей.

— Кто ты, — спрашиваю я сквозь чёрный бред, как в детских сказках спрашивают прилетевшую фею дети, — ты мой брат?

— Да, — отвечает фея.

— А кто тогда там лежит, тоже мой брат?

— Нет, — ты не угадал, дорогой мальчик.

— А ты кто?

— Я фея.

— А что ты будешь делать?

— Ничего, теперь уже поздно, не надо было убивать тех двоих. В этот раз всё кончено.

С этими словами мой брат достаёт длинный нож, и втыкает его себе в пах. Рывок, и из него вываливаются внутренности (я не вижу этого, но мне слишком хорошо знаком этот звук). Я лежу над обрывом, моя голова свисает вниз, и я вижу, как он падает, и на его тело наматываются кишки, как на катушку нитки, когда он прокручивается, ударяясь о выступы.

Миг, и он теряется где-то внизу, исчезая в мареве теней.

* * *

Мама, я не знаю, что случилось и кто все эти люди, но я не хочу умирать, я хочу идти по тропинке возле нашего дома с братом и есть мороженное, которое ломит зубы, а ты будешь меня ругать, что я ползал на коленях по траве, и теперь у меня зелёные пятна.

IV

* * *

Феликсагор Черныйский в новолетие 25732 года от С.М.З.Х, преодолев вертикальный подъём по склонам Хималая, явился в чертоги бога, поддерживающего иллюзию физического мира. Перед этим он, как славный Арджуна предавался медитации и подвижничеству, умерщвляя свою плоть три месяца, две недели и один день. Ему открылось тайное знание и дорога в скалах. Ещё три дня по пути навверх его искушали обнажённые богини, но благодаря брахмачарье оставались ни с чем, на него нападали дикие звери, но видя за его спиной сияющую ахимса, оставляли мудреца нетронутым.

На четвёртый день Феликсагор увидел себя деревом, корнями которого был мир, стволом война, а ветви исчезали в Изначальной Пустоте. Пришёл путник и, обрезав ветви, начал рубить ствол.

Было темно, но во тьме раздался голос:

— Мать — это невероятно прекрасный образ, который вы, жалкие существа, боготворите и лелеете, вы как никогда правы — энергия Шакти, это первоматерия, не будь её, даже сам Непроявленный не смог бы сотворить картину мироздания.

— Человек подобен дереву, растущему корнями вверх, все остальные виды жизни — это подготавливающие ступени. Только навверху, избыв 84 лакха, человек найдёт то, что ищет.

Загорелся свет и Феликсагор увидел бога. Бог этот был страшен, но за аскетизм, за тысячи молитв, вознесённых Феликсагором бессонными ночами в треснувшее небо, он принял облик, подобный человеческому и разрешил пришедшему загадать одно желание.

— Чего ты хочешь? — спросил бог у Феликсагора.

— Хочу узнать тайну твоей иллюзии, в которой ты держишь нас.

Бог расхохотался, и смех его был подобен грому.

— О, безумец, — сказал он, — никому не дано познать тайну моей иллюзии. Бесчисленное количество раз раздаётся звучание военного рога на Курукшетре, Венценосный Индра кружит на своих колесницах, озаряя поле боя блеском золотых доспехов, сияние которых не выдержит ни один смертный. Дхритараштра, король королей, медитируя, находит причину своей слепоты только в сто восьмой жизни. Великий учитель, попав в невежество, не возвращается в Неведомую Обитель, а становится в следующей жизни оленем, пока его не убивают, и не освобождают от низшего тела.

И всё это — моя тайна, она умещается на листе дерева, она подобна горчичному семени, но попадая в неё — исчезаешь на века. Как Брахма, ослепший от своего могущества, решил понять, что происходит в верхних сферах Творения. Кальпы и кальпы он поднимался вверх, но так и не смог достичь пределов этого семени. Он встретил по пути лотос, который спускался сверху уже так давно, что забыл своё имя.

— Кто, ты, — спросил Брахма.

— Я не знаю, — отвечал цветок, — там, откуда я иду, нет имён.

— Ты лжёшь, — сказал Творец, — я Брахма, чей день длится четыре миллиарда тридцать два миллиона лет.

— Там внизу, в долине смерти, куда я иду, в малом содержится бесконечное, а в

бесконечном малое.

И лотос исчез в тумане.

Многие времена Брахма поднимался в бесконечность, и когда он понял, что нет предела Творению, то взмолился:

— О, великий, прости мне мою заносчивость, дай вернуться обратно. Я слишком далеко ушёл.

Твоё желание, каким бы оно ни было, будет исполнено, как исполняется всякое желание.

С этими словами бог вылил содержимое своего кубка, который держал в руках Феликсагору в лицо. Облекаемый потоками Тёмных Вод, Феликсагор потерял чувств различения.

* * *

«...чёрт, я тону!.. «...срань господня!..» «...я же тону...»

Синяя вода начала ржавыми гвоздями проникать в лёгкие, сердце бросало в голову литры чёрной крови.

«...это конец...»

Но стальные руки схватили тело и потянули вверх. Столб углекислого газа ворвался в грудь, вернув в неё ритм. Слезы хлынули из глаз. Истерика, как синоним жизни затрясла тело в конвульсии.

Далеко, насколько хватало глаз, простирался берег, густо усыпанный восковыми телами, уродливо разбросанными по песку. Тела впитывали кожей фотоны. Впереди зеленел залив, взрезанный гранитом пирсов на одинаковые прямоугольники, рядом было костистое железо рук, выходящее из-под оранжевого жилета. Цвет резал глаза. В уши впивалась сирена скорой помощи, до дрожи в ногах, до крошащегося стекла зубов.

Дальше были разваленные улицы, серая клиника. Дальше были лица, халаты, кислород, сон...

— q gjcybcm!!!

— jyf ghjcyekfcm! nj xelj/

— это необьясубvj/

— Проснулись! Поздравляю Вас, вы чудом спаслись, ещё не много и вы бы умерли.

«... j gnj nj to` в смысле о кто ещё этот Парацельс пластмассовый...»

— В Вашей крови мы обнаружили очень много алкоголя, Вы часто его употребляете?

- - В приёмной Вас дожидается молодой человек, именно благодаря ему вы остались живы — он спас вас.

«.....кто ещё там, ещё ehjlcndj rfrjt «.....не люблю розы, меня от них тошнит.....»
«.... gjikznbyf ой то есть пошлятина Карл Олдридж,.....» но однако он совсем ничего и зубы у него очень белые, зубы....

Как так получилось, что Дальше встреЧи, свидания, свадьба, жизнь, сjuysq...

— Фелексия, ты слишком много пьёшь, не подходит красивой женщине вроде тебя, пить больше мужчин, и ночами во сне ты несёшь какую то чушь, ты бы себя слышала: терраполис — это одна тысяча двадцать четыре гигаполисов, железные мосты через Селенгу, реставраторы, длань Осириса... Аббасович какой-то... Ты бы проконсультировалась с психологом, завтра к нам придёт мистер L;onsju.

«...~~ 0-о. фу мерзота какая мистер ждонсон. пустая стекляшка... тебе было так скучно, ты бы что делал, носки вязать начал....»

нанесённая тупым предметом. Мужчина одет в серое пальто, тёмные брюки и светлый пуловер. При нём были найден паспорт гражданина Польши на имя Филлипа Чорновского. Мужчина доставлен в S-ое отделение N-ской больницы, где по сей день пребывает в бессознательном состоянии. Просьба всем, кто располагает любой информацией, обратиться в местное отделение полиции или по телефону: xxx-xx-xxxx

О, наконец то я нашла тебя, мой Филипп! Столько лет, почему же ты меня не узнаёшь, о, мой Филипп!!

Слёзы Клары как коричневый дождь над Пиккадили заливали его лицо.

Филипп, посмотри, это же мой отец, ты не помнишь его, ты спас ему жизнь. Ты только вспомни: Варшава 1934 год, режим проклятого Пилсудского. Ты жив, слава господу!

Тридцать лет спустя её слёзы затвердели и падали как махровый серый снег в небе Атлантики, падали на могилу её отца.

Спустя ещё год в небе над Атлантикой был настоящий снег и был маленький личный самолёт, который рухнул в чёрный океан.

Бурная вода захлестнула их, подхватила и понесла; и во тьме Филипп потерял и жену и детей. Сам же он спасся, вынесенный водою на некий холм, едва возвышавшийся над волнами. Рыдая, он тщетно взывал с того холма к своим близким, доведённый до крайней степени отчаянья.

— Куда же ты запропастился? Я жду тебя уже полчаса.

И тут же схлынула вода и появилась пустыня.

И тотчас рассеялась тьма, и стихла буря, и в ясном свете дня мудрец увидел бога — он восседал под тем же самым деревом на пригорке, а кругом простиралась все та же пустыня. Бог, улыбаясь, взглянул на изумлённого Феликсагора и спросил его:

— Что же, понял ли ты, наконец, тайну моей иллюзии? Соляная кукла начинает путешествие из шахты, где появилась на свет, к океану, в неутомимой жажде познания. Дойдя до океана, она растворяется в нём, и не остаётся никого, кто бы мог познавать.

— Я всё понял, больше не надо, — сказал Феликсагор богу.

— Извини, процесс запущен, это будет продолжаться, пока не станет ясно, что тебе действительно надоело, Я же Бог, или кто, ты попросил, всё будет исполнено. Количество моих даров ограничивается не твоими представлениями, а моей щедростью.

Кто тебе сказал, что моя майя односложна и одногранна? Она слишком велика, чтобы ты её смог понять своим скудным человеческим умом. Выплывая из одной воды, ты попадаешь в другую, разбив одну скорлупу, ты становишься обитателем нового яйца. Ты когда-нибудь подносил одно зеркало к другому? В бесконечной синеве теряется бесчисленное количество отражённых друг от друга образов. Как понять? Надо просто убрать второе зеркало. Ты будешь много раз убирать эти вторые зеркала, но они будут снова появляться. Ты попросил, а желание человека — закон. Теперь твоя история почти бесконечна. Но ты не потеряешься, я сам буду с тобой.

— Может быть, ты спросишь, кто ты такой?

— Кто я такой?

Я — Вечно Сияющий, Вечно Созидающий, я техно закон тримурти, окутывающий покрывалом всё, вплоть до нулевого мира. Но это только вниз. Даже мне не дано знать, что выше меня, только дано поклоняться Этому и обожать Это. Только вам, людям, трепещущим в своей ничтожности, как это ни странно, разрешено знать ВСЁ. Но именно из — за этого самого желания вы и падаете вниз и теряетесь во мгле почти навсегда. Едва ли полтора из

вас потом возвращаются обратно. Ты к тому же теперь замешан в одной очень интересной истории, и не спорь, я так захотел, порой в своей вселенской скуке я что-то тоже придумываю, не думай, что я бездарен. Ты великий йогишвар, ты достиг меня, и теперь пожинаяешь плоды своих желаний. Радуйся что хоть я не Ньярлатхотеп — ползущий хаос, или какой-нибудь Азатот, вечно жующий во тьме, причём, не указывается, что он жуёт. Итак, ты сброшен вниз, но я тебя не покину и буду всегда с тобой там, потому что это Я, Подставляющий Вторые Зеркала.

Не удивляйся, что пустота будет мешать тебе, порой даже выдавая себя за меня, такова её функция, это мой отрицательный аспект, не виноват же, в самом деле, бог, что у него синие тапочки. Центростремительное ускорение порождает побочный эффект центробежности — именно он — то и удерживает у борта колеса тех, кто уже здесь, но выхода для них нет.

— Но я же всё понял, больше я ничего не желаю.

— Поздно, процесс уже запущен, Осирис уже потерял свою длань, которая провалилась на нижние миры, и он, расчленённый на 14 частей, жаждет мщения, а шакалоголовый бог Анубис со своим братом по восьмигорью по имени Тот уже начали поиски, а их вечный враг ослиный бог Сет, будет им мешать в этом.

— Но я-то здесь причём?

— Так вышло, что именно ты поднял длань Осириса, это десница бога, ты понимаешь?

— Такого же как ты?

— Дурак, конечно, нет, бога подчинённого мне, но именно это позволило тебе натворить столько несуществующих миров, в которых ты пытался укрыться от ищущих тебя. Сет тоже ищет длань, ему не нравится, что будет потом, когда Осирис воссоединится со своей женой, и плодом их любви будет рождение нового героя, способного перевернуть мир.

— Какого героя?

— Ты совсем не образован, друг мой, Гора, конечно.

— Так это я, что ли всё это создал?

— Не ты, о жалкий смертный, часть божественного тела генерирует творческую энергию, и тот, у кого в руках она оказывается, становится подобен Творцу.

— Но я что-то не помню как я всё это делал.

— Ах люди, в своём неумолимом стремлении прибрать всё к своим рукам, узнать всё, вы, по меньшей мере, глупы и невежественны. Естественно, что вы не помните свои прошлые жизни, ведь было бы глупо, и неинтересно смотреть один и тот же фильм сотни раз. И в заключении нашей беседы я хочу предупредить тебя об одной вещи, я имею два аспекта — отрицательный и положительный, это две стороны одной медали. Представь себе вращающийся круг, от него направлены два вектора силы: первый и он же главный — центростремительный, от оси направляется вверх, второй, побочный, это центробежная сила, отбрасывающая всё от центра к краю окружности. Вторая сила кажется более могущественной, потому что почти вся плоскость в её власти, именно поэтому, вас так много живёт в мире, но стоит тебе подойти к центру, и фьюить.

— Вроде бог не должен так выражаться.

— Как?

— Ну, Фьюить.

— Кому не должен?

— Эээ...

— Но суть того, что я тебе сейчас рассказываю в том, что когда появляются ложные самоликвидирующиеся проводники, — это не сбой, это часть плана. Рано или поздно появляюсь я сам и восстанавливаю равновесие. Ну, а теперь за дело.

— Что ты делаешь?

— Я подставляю второе зеркало.

И только бог вынимает из-за спины что-то огромное, как вдруг вся панорама, от земли до небес рвётся, будто громадный сине-чёрный лист. Из проёма опять высовывается японец в зелёном, (брат мудреца) и говорит:

— Даже под бога закосил, вот падла, но и тут нашей вещи нет, собирайся я нашёл её. Он хватает Феликсагора за плечи, затаскивает его в дыру и портал закрывается.

Больше книг на сайте - Knigolub.net